

# Четверо наедине с горами

МИХАИЛ  
ЧВАНОВ

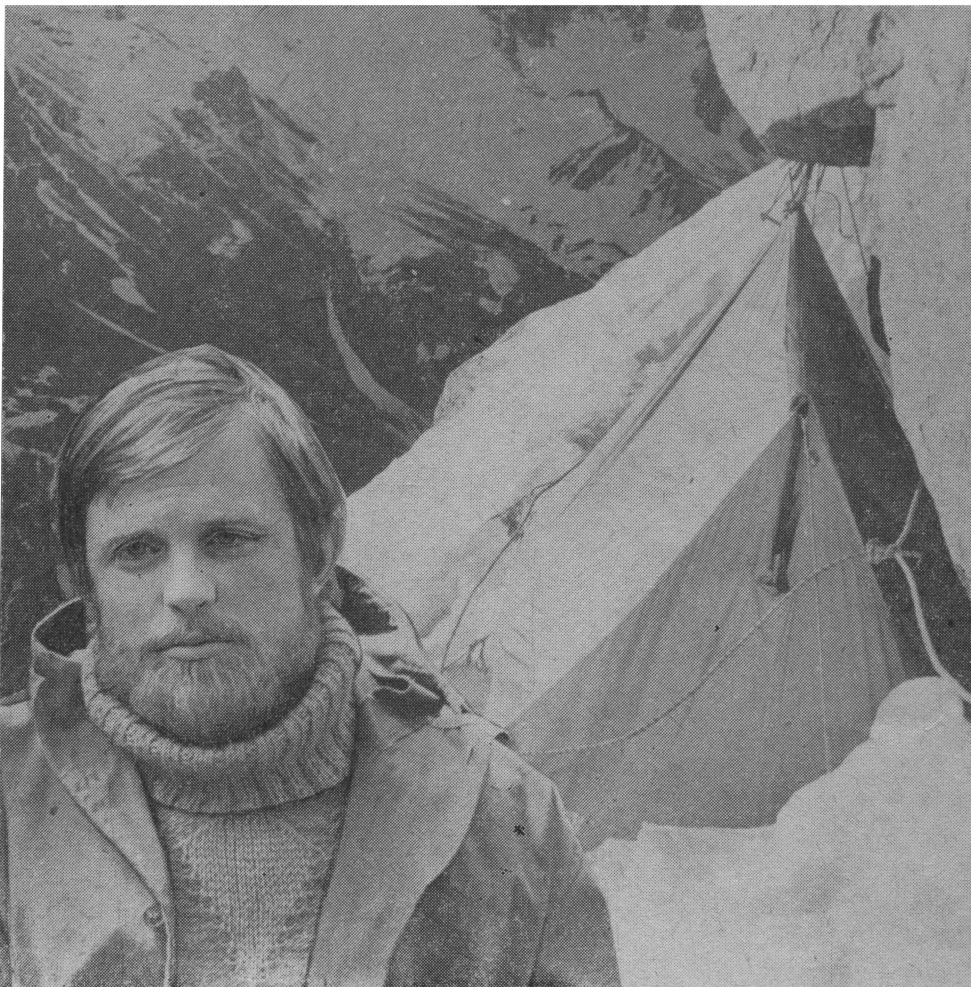


Цена 32 коп.











МИХАИЛ  
ЧВАНОВ

# Четверо наедине с горами

---

Р а с с к а з ы



БАШКИРСКОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
УФА — 1977

## **Художник А. Х о л о п о в**

**Чванов М. А.**

**Ч 33** Четверо наедине с горами. Рассказы. Уфа,  
Башкирское книжное издательство, 1977.

128 с.

Сборник рассказов. Четвертая книга прозаика, участника VI Всесоюзного совещания молодых писателей.

Герои рассказов Михаила Чванова — наши молодые современники, люди интересных судеб — геологи, изыскатели, альпинисты... Автор рассказывает об их трудных дорогах, порой полных драматических ситуаций, о их богатом и сложном духовном мире. Рядом с молодыми — люди старшего поколения, опаленные войной. Поэтому почти в каждый рассказ врывается память о ней: война давно кончилась, но осколки ее до сих пор летят и ранят нас.

**Ч**  $\frac{70301-195}{M121(03)-77}$  71—77

**Р2**



# Четверо наедине с горами

---







# Пианист играл Шопена

---

Пианист играл Шопена...

А я вспомнил дорогу, поезд, грохочущий на юг, злоеющие всплески газовых факелов в черной степи.

Память ворвалась в взволнованную тишину концертного зала, до предела сгустила чувства, и сквозь мятежный переполох звуков я слышал голоса людей, которых, видимо, больше никогда не увижу.

Пианист играл Шопена... А я думал о том, что никогда невозможно привыкнуть к дорогам. Перед дорогой всегда волнуешься, хоть немного, но все равно волнуешься, даже если ты едешь всего на несколько дней и в комфортабельном вагоне. И уже по-другому воспринимаешь окружающее, и уже имеют особый смысл убегающие в пустоту огни родного города, кем-то брошенные в темноте слова, счастливый смех в непривычной тишине ночных полустанков. И с волнением вслушиваешься в постук колес — тележную песню XX века: то усталый, со скрипом — на подъемах и поворотах, то тревожный и гулкий — на мостах, словно предостережение чему-то, то ровный и дремотный — на равнине,

и вдруг резкий, спотыкающийся — на стрелках, как воспоминание или бормотание сквозь сон.

Только человеку совершенно невнимательному кажется, что колеса везде и всегда стучат одно и то же. Как одно и то же кричат поезда. Но это совсем не так. Колеса имеют свой язык и стучат по-разному днем и ночью, зимой и летом, на Севере и на Юге, в годы глубокого мира и в войну. Но во всем многообразии слышится главный—тревожный мотив. То тише, то громче, то устало, то почти отчаянно... Это словно руки музыканта. Поиск: сотни раз возвращение к одному и тому же. Еще только неясные штрихи, всплески, еще нет мелодии, но с каждым разом все ясней и отчетливей. Особенно тревожен этот мотив в осенние дождливые ночи, когда за окном нет неба и нет земли, и кажется, что поезд идет в пустоту.

Пианист играл Шопена, а поезд все дальше уносился на юг. Под стук колес хорошо думать и грустно вспоминать. Уже переехали Волгу. Снег был только до Саратова. Дальше лежала голая иззябшая степь, лишь местами чуть припорошенная серыми пятнами грязного снега. Мы вчетвером стояли у окна и всматривались в ночь. Мы курили и ждали море. И Иван Максимович, невзрачный сухонький пенсионер с Золотой Звездой Героя, и молодой каперанг, и бронзовый, как грек, танкист—грустный капитан с перевязанным подбородком. На учениях ему разбило челюсть, и после двух неудачных операций он ехал в санаторий. Раздробленные кости, видимо, мучительно ныли, но он не подавал виду, лишь виновато и устало улыбался. На поворотах вагон скрипел и немного кренился. Чтобы устоять, надо было широко расставить ноги.

— Как в танке качает,—говорил танкист и морщился от боли.

Мы были случайные попутчики и даже не знали, как



звать друг друга,—правда, я знал, как звать Ивана Максимовича, случайно услышал в Уфе, на перроне: мы сели в поезд в одном городе,—но нас объединяли дорога и море, к которому мы все стремились. У каждого у моря были свои дела. Иван Максимович ехал отдыхать в санаторий в Судак, каперанг возвращался на свой корабль в Севастополь, капитан-танкист у моря родился, а я никогда не видел моря. Оно лежало выпуклое и многообещающее где-то там впереди, куда несся поезд, и тянуло к себе. И стучали колеса, пели свою грустную песню.

И мы молчали. Нам незачем было говорить, мы понимали друг друга без слов. Слова лишь только спугнули бы ту молчаливую близость, объединяющую людей в дороге.

Иван Максимович близоруко всматривался в степь, словно старался увидеть что-то знакомое среди темных бугров и оврагов. У него были необыкновенно голубые глаза, и весь юн был каким-то светлым, тихим и незащищенным. Чем ближе поезд подходил к Волгограду, тем больше Иван Максимович волновался, еще чаще курил и уже совсем не отходил от окна.

В Волгограде юн неловко прыгнул с подножки, когда поезд еще не успел остановиться, побежал в одну сторону, другую, поднялся на мост; приложив ладонь к глазам, что-то высматривал за вокзальными зданиями и вернулся необыкновенно взволнованным. Он, кажется, даже не заметил нас и прислонился потным лбом к окну.

— Что, не пришли?—осторожно спросил каперанг.

— Кто?—словно очнувшись, глухо спросил Иван Максимович.

— Кто-то вас, кажется, должен был встретить,—неуверенно сказал каперанг.

— Нет!—не оборачиваясь, ответил Иван Максимович.

—Нет!—повторил он после недолгого молчания и повернулся к нам. — Просто я здесь воевал.

Он снова отвернулся к окну, и мы больше не решались задавать ему вопросов. Ветер трепал его седые волосы; он ловил близорукими глазами пронсящие мимо улицы, дома, но поезд шел слишком быстро, а увидеть нужно было все, да и не все, наверно, можно было сразу узнать — за двадцать лет в Волгограде многое изменилось, и он суетился, перебегал от окна к окну.

Я не видел войны, я родился в сорок четвертом, но и на мне она оставила свои страшные следы, и никогда война не была для меня отвлеченным понятием. Но понастоящему почувствуешь, что это такое, только тогда, когда впервые пересечешь бывшую линию фронта и увидишь своими глазами ту землю, обожженную и исковерканную четверть века назад. Словно дохнет на тебя жутким застоявшимся холодом, и вдруг на мгновение, вслушиваясь в тревожный постук колес, я с ужасом почувствовал себя одиноким, маленьким солдатиком: из-за черного горизонта, вонзаясь в душу десятками страшных стволов, на меня с лязгом несутся железные звери, и в огромной и ровной, как стол, степи негде спрятать голову.

Вечером капитан-танкист рассказывал нам о Керчи, в которой не был уже восемь лет. В эти минуты он забывал про боль и походил на мальчишку. Заехать в Керчь у него не было времени, и он жалел, что не сообщил никому из родственников, живущих хотя бы на железнодорожных станциях, о своем проезде. За окном в серых сумерках проносилась грязно-белая степь, и кучи щитов для снегозадержания казались Ивану Максимовичу танками, вязнущими в снегу. На крупных станциях он просил меня сбегать за пивом, и несколько раз я чуть не отстал от поезда.

На станции Тамань наш поезд накрыл мелкий морозящий дождь. Мы бежали с капитаном-танкистом вдоль путей, разыскивая его родственника железнодорожника, и я думал о том, что где-то здесь, за этими желтыми домишками на другом берегу Таманского залива чуть не утопили Лермонтова. Родственника мы не нашли, и мокрый капитан виновато разводил руками, пересиливая зубную боль:

— Ну надо же, сегодня у него выходной. Ну ничего — на станции Крым у меня дядя живет.

Вагон вдруг наполнился неизвестным мне сырым и соленым запахом, я долго не мог понять, откуда он, но по ласковой торжественности на лицах капитана-танкиста и каперанга понял, что это пахнет морем и сейчас я его увижу. И когда увидел, не сразу догадался, что это море. Азовское море штормило и показалось мне торосистым ледяным полем.

Поезд шел Чушской косой, волны подбегали бы к самым рельсам, если бы их не удерживала небольшая дамба. На приколе болтались рыбацьи лодки, и чайки качались на волнах, перелетая с места на место. Крым все приближался и полыхал драгоценным камнем в редких лучах солнца среди пасмурной синевы моря.

На станции Крым мы снова искали родственников капитана-танкиста, теперь уже втроем.

— В другой смене Астахов.—И капитан устало вытирал платком лоб.

— А его сын, Павел?

— Ушел в море. Вернется только через десять дней.

В проливе было сравнительно тихо. Уставшее на просторе море здесь шумело лениво и пенилось у бортов, словно густое пиво. Каперанг стоял на носу парома и всматривался в горизонт, где маячили рыболовецкие суда.

— Вот по этим местам я бегал мальчишкой,—волно-



вался капитан-танкист.—Вон через ту гору бегал в Керчь—продавать рыбу. Все ходы и выходы знал. Не охота сидеть на уроке, уйдем на лодке через пролив, а это ни много ни мало—пять километров. В сорок первом мне было семнадцать, когда я отсюда ушел на фронт...

— Райская земля,—сказал кто-то сзади.

— В сорок втором здесь легли три наши армии,—зло ответил ему другой, с большим шрамом на лбу.

Как только паром подошел к причалу, каперанг перемахнул через борт и крикнул мне:

— Побежали! Стоянка будет долгой. Пока с парома стащат да сцепят, минут двадцать пройдет.

Ветер рвал полы пальто, срывал шапку; охваченный внезапной радостью, я бежал за каперангом и захлебывался упругим морским воздухом. Каперанг взял у ребятишек две удочки, мы сели на корточки, и он учил меня таскать из щелей причала черных бычков. Он вытаскивал их одного за другим, еле успевая нанизывать на крючок кусочки хамсы. У меня дело не клеилось, и он, как мальчишка, радовался каждому пойманному мной бычку.

— Люблю ловить рыбу,—кричал он мне сквозь ветер, когда мы, бросив удочки, бежали за уже сформированным поездом.—Особенно у Херсонеса или за Балаклавой.

В Керчи мы купили у старух помидоров, тарани, хамсы и запивали все это терпким крымским вином. Капитан-танкист бегал по вокзалу, искал свою племянницу, продавщицу киоска «Союзпечати», у которой как раз был обеденный перерыв. На древнем холме Митридате, у памятника павшим десанникам, пылал Вечный огонь, и рядом с древней крепостью были видны следы минувшей войны.

Во Владиславовке капитан-танкист сошел. Дальше до

санатория ему нужно было добираться на автобусе. Мы помогли ему вынести чемодан.

— После санатория в третий раз будут ломать. Уже надоело, — виновато сказал он.

— Держись, капитан,—все будет хорошо,—положил ему руку на плечо Иван Максимович.

— До свидания!—сказал я.

Каперанг молча пожал ему руку.

Поезд тронулся, и мне было грустно: я впервые подумал, что могу больше не встретить этого человека.

В Симферополе сошел Иван Максимович. Его окружили друзья, и он сразу забыл о нас. Мы с каперангом стояли в стороне с его чемоданом и неловко улыбались. И это еще больше сблизило нас.

В Севастополе мы вместе доехали на трамвае до площади Нахимова. Несколько минут шли рядом и остановились на углу.

— Вам куда?—спросил каперанг.

— Туда, — показал я в сторону Большой Морской улицы.

— А мне туда,—махнул он в противоположную сторону.

Каперанг вынул сигареты, мы закурили. В темноте, невидимое, глухо шумело море. И никто из нас не решался уйти первым.

— Ну что ж, до свидания!—сказал наконец каперанг и протянул мне руку.—Через день уйду в море.

И по тому, как он это сказал, я понял, как сильно он любил море.

Через день я поехал в Херсонес. Словно замороженный, бродил по раскопкам. На развалинах античного города было пустынно и тихо. Было ощущение, что время здесь давно остановилось, и больше некому качнуть маятник часов. На неровных холмах обвалившихся стен старухи собирали грибы.

Я ходил по улицам, которые когда-то были шумными, останавливался на площадях и перекрестках. Рядом шумело море, ветер качал метелки старой полыни на холмах, похоронивших город; я глох и немел от странной тишины и совершенно потерял счет времени.

К вечеру, уставший от избытка неожиданных впечатлений, спустился к морю, где была древняя гавань. Здесь ожидали корабли, и не всегда они возвращались. Превозмогая резкую боль в глазах, я смотрел в синеву. Она немного успокаивала. Я не ожидал, что встреча с древностью будет такой трудной. Древность угнетала и тупо давила виски.

Волны с грохотом обрушивались на крутой берег, пушечными выстрелами лопались в волноприбойных нишах, обдавали меня горькой водяной пылью и, пенясь, с шорохом откатывались назад. Море выбрасывало к моим ногам обкатанные черепки пифосов. Присмотревшись, я увидел, что почти весь берег вокруг меня покрыт такой галькой. Фундаменты некоторых домов обрывались прямо в море. Берег изменился за прошедшие века, море медленно, но постоянно разрушало его, по песчинкам уносило и прятало вместе с развалинами города и их тайнами в своих глубинах.

А море осталось то же. И все так же катило волны. Древнее море. Мне казалось, что в зыбкой лазури я сейчас увижу широкогрудые корабли греков. Но вместо них из-за берега показались серые эсминцы. Они уходили в открытое море, настороженно вращая радарными. Я вспомнил каперанга, моего случайного спутника. Возможно, он был сейчас на одном из них. И я подумал, что мы с ним не просто случайные попутчики, мы прожили вместе целых трое суток, и мне не безразлична его судьба. Как и судьба Ивана Максимовича, и капитана-танкиста, и всех других, с кем меня когда-то сводила дорога. Потому что и он, и я, и все мы вместе

связаны невидимой, но прочной нитью ответственности за себя, за других, за свое поколение, за все то, что вокруг нас происходит, за время, в которое мы живем.

И зачем-то я вспомнил Саяны несколько лет назад. Пять дней мы жили у геодезистов на Кизире. Их было только двое: Георгий Иванович и Юра. С Юрой мы несколько раз ходили на охоту. Он мне рассказывал историю своей грустной любви. Когда мы уходили, Юра проводил нас до перевала. На перевале он отдал мне письмо, которое я должен был бросить в Новосибирске.

— Жаль, но надо уходить. Мы бы еще раз пошли на охоту,— сказал я на прощанье.

— Мы обязательно встретимся. Не на Саянах, так на Алтае, не на Алтае, так на Камчатке. И мы пойдем с тобой на охоту.

А недавно я встретил Алика, с которым мы были вместе на Саянах.

— Помнишь геодезистов на Кизире?—спросил он.— Помнишь Юру?.. Так вот он погиб. На другой день, как мы ушли от них. Я еще в ту осень получил от Георгия Ивановича письмо. Юра переправлялся верхом через Кизир. Как раз там, где переправлялись мы. Лошадь поскользнулась, упала. Он ударился головой о камни. На нем был ватник, тяжелые сапоги, винтовка...

Мне стало не по себе. Все эти годы я верил, что когда-нибудь на каком-нибудь перевале я снова встречу Юру, мы разведем костер под древним кедром и, ожидая рассвета, он будет рассказывать мне о любви. А его уже давно не было. Мы еще не успели отойти от избушки и двадцати километров, а его уже не было. Когда мы попали в болоте под пятичасовой ливень, как самое драгоценное, я спасал его письмо, потом сушил его над костром, боясь, что слились строки, и чувствовал себя виноватым перед Юрой, а его уже не было...

Корабли скрылись за горизонтом. Берег опустел, я не

заметил, когда ушли рыбаки и старухи, собиравшие грибы. Лишь волны по-прежнему с грохотом обрушивались на берег. Я думал о том, что если бы не письмо Георгия Ивановича, если бы я не встретил Алика, Юра навсегда бы остался в моей памяти живым, как навсегда останутся для меня живыми люди, сошедшие в ночь с моего поезда. Вечно будет бороздить моря эсминец каперанга, и когда-нибудь мы встретимся и будем ловить бычков на керченском причале и покупать вино и помидоры у крымских старух. Будет грустно улыбаться капитан-танкист, на какой-нибудь станции я чуть не отстану от поезда, и мы будем пить холодное пиво с Иваном Максимовичем, а потом все вместе будем стоять у вагонного окна и вслушиваться в ночь.

...В взволнованно-притихшем зале пианист играл Шопена.

# Память

---

Был тихий и теплый вечер. Около хутора Кузнецова горы резко оборвались и вокруг нас вдруг стало неожиданно много воздуха и света. И непривычно большое и красное солнце лежало почти на самой земле. И даже запахи здесь были другие, чем в горах—сухие и горькие.

В двух километрах ниже Кузнецова блестели на солнце железные крыши Верхне-Биккузина, а еще чуть ниже, на противоположном берегу Белой, лежало совсем степное село Сыртланово. Его уже со всех сторон окружают поля. На берегу реки сгрудилось в кучу несколько старых осокорей с шумной колонией грачей.

Мы опустили весла и, то ли с облегчением, то ли с сожалением вздохнули. Полевой экспедиционный сезон кончился. Часа через полтора мы будем в Сыртланове, а там нас ждет машина.

После густого шороха тайги и шума перекаатов здесь было до смятенности тихо, словно все затаилось в предчувствии близкой и еще неосознанной беды. Это умирало лето.

Над горизонтом висела бурая мгла, будто стелился

дым далекого пожара. Видимо, где-то в глубоких степях зарождалась пыльная буря.

Мгла с каждой минутой густела, постепенно она затянула полнеба и скоро совсем поглотила багровое солнце. Сразу стало холодно, внезапно налетел ветер, сорвал с нашей лодки палатку, прикрывавшую вещи, и через несколько секунд по речной долине навстречу нам понесся в горы ошалелый пыльный смерч.

На реке поднялась большая волна. Она захлестывала лодки, пытаясь развернуть их бортом к ветру и перевернуть. Мы гребли, выбиваясь из последних сил, но вперед ничуть не продвигались, даже наоборот: нас неумолимо тащило вверх по течению обратно в горы.

Только глубокой ночью, вымокшие и оковеневшие, мы смогли добраться до Сыртланова. Темноту сек холодный мелкий дождь. Село спало тяжелым ненастным сном, лишь в окнах одного дома теплился свет.

Я осторожно постучал в мокрое стекло. На стук вышел пожилой мужчина, настороженно остановился на крыльце. Из избы в раскрытую дверь слышались песни, смех.

— Из экспедиции мы,—начал я.—Хотели попроситься погреться. Но у вас гости. Так что извините.

Мужчина молчал и как-то очень странно смотрел на меня. Мне даже показалось, что он вздрогнул, когда меня увидел. Я оглянулся: мои товарищи смотрели на меня недоуменно.

— Кто там, Максимыч?—спросил из избы женский голос.

— Из экспедиции, говорят,—неуверенно ответил мужчина.—Вымокли.

Он замолчал и все так же странно смотрел на меня. Дождь лил на его непокрытую голову, но он не обращал на это внимания.



— Ну вот что, ребята: заходите,—вдруг сказал он.— Заходите.

— Но нас много, а у вас гости.

— Ничего,—голос его окреп.—В тесноте, да не в обиде. Не будете же на улице спать. Заходите.

Сбросив в сенях мокрые и грязные штормовки, мы сгрудились у порога.

— Проходите, проходите. Места всем хватит. Мать! А мать! Собирай снова на стол, еще гости у нас. Огурцы ставь, картошку ставь... Крепко вас потрепало, мужики, крепко.

Через полчаса мы обжигались горячей картошкой. Наталья Васильевна суежилась вокруг стола, ставила молоко, помидоры, какие-то замысловатые пироги. Стульев на всех не хватило. Принесли со двора доску, между двух табуреток соорудили скамью.

Василий Максимович сидел в стороне и время от времени задумчиво повторял:

— Крепко вас потрепало, мужики, крепко.—И я снова ловил на себе его внимательный взгляд.—Сыновья съехались, вот мы и засиделись. Четверо их у меня, редко все вместе-то собираемся...

Я старался вспомнить, не встречал ли где-нибудь этого старика, но припомнить не мог. И было как-то неуютно от его печального внимательного взгляда, словно он знал обо мне какую-то нехорошую тайну, о которой не догадывался я.

— Село наше?—переспрашивал он Толю, но опять смотрел на меня.—Наверно, как все села. Хотя и на отшибе вроде оно, но беда его стороной не обходила. Ну и счастье, наверно, было... Целина здесь раньше была. Пришли наши отцы, подняли целину. Пять дворов сначала было.

Он снова закурил.

— Отца казаки прямо дома схватили. Повели рас-

стреливать. Далеко идти им было лень. Поставили над оврагом прямо под окнами. Мать без чувств у ворот упала. Даже плакать не может. Отец просил:

«Отведите, сволочи, хотя бы за огороды, чтобы жена и дети не видели».

Соседи спасли. Встали всей улицей перед офицером на колени:

«Не партизан он. Ошибка это. По корысти наболтал кто-то».

Было уже далеко за полночь. Тяжелая дрема все больше овладевала нами, даже трудно было сказать пару слов. Мы стали укладываться спать.

В избе было очень жарко. Я вышел во двор. Дождь не утихал. Я подумал о лодках, которые остались на берегу. Как ни жалко, их придется бросить. Кто-то вышел на крыльцо и закурил. Я оглянулся: это был Василий Максимович.

— Осень пришла,—сказал я, чтобы что-то сказать.

— Осень,—задумчиво повторил он.—Слушай, парень, откуда ты родом будешь? Не из-под Москвы?

— Нет, из Башкирии я.

— И родители здешние?

— И родители.

— А я подумал: не из-под Москвы ли. Уж больно ты на одного человека похож. Рассказываю давеча сыновьям о ребятах своих фронтовых, о Ванюшке Никитине, и вдруг стук в окно. Выхожу, а он тут, Ванюшка-то, живой передо мной стоит... Словно во мне что-то перевернулось.

Василий Максимович снова закурил. Руки его дрожали.

— Так здешний ты, значит?

— Здешний.

В темноте глухо шумели мокрые осоки. Мы долго молчали, вслушиваясь в ночь.

...—Как сейчас помню: из окруженья мы тогда только что вышли. Поступило к нам пополнение. Все двадцать третьего года рождения. Мальчишки совсем. Дядей Васей меня звали. За отделенного я тогда был. При начальстве, конечно, обращаются как положено, а так, между собой: «Дядя Вася, дядя Вася».

Бросили нас в прорыв. Идем в атаку. «Короткими перебежками!»—приказываю. Бегу впереди. А они за мной, все двадцать третьего года рождения. Слева от меня чуть позади Захаркин, парень с Волги, бежит. Справа—Парфенов из Перми. Рядом—Ванюшка Никитин из-под Москвы. В землянке все вокруг меня крутился, и тут, смотрю, не отстаёт. Уж больно я к нему привязался. Хороший такой парнишка, смывленный. Придет, бывало, в землянку и смотрит, как я сапоги чиню.

— Что тебе, Ванюшка?—спрашиваю.—Что ты уставился на меня, как на Иисуса Христа? Или девка красная я?

— Нравится смотреть, как вы работаете. Лицо у вас тогда хорошее, доброе. Как у деда моего на пасеке.

— А в другое время злой я, что ли? Изверг? Или, может быть, другого отделенного вам надо, чтобы шкуру с вас драл?—строго так нарочно спрашиваю.

— Нет,—говорит,—но лицо у вас тогда совсем другое бывает.

Бежим, а он рядом.

— Ну, как идем?—спрашивает.

— Хорошо, ребята, идем, хорошо. Вот пройдем этот бугорчик, там, считай, прямой наводкой по нас хлестать будут. А потом врукопашную. А тут уж, считай, наша взяла.

Бежим по бугорку. Оглядываюсь. Захаркина уже нет за мной. И Парфенова уже нет. Лежит, корчится. Очередью его прошило прямо в живот.

Ванюшка Никитин все оглядывается.

— Дядя Вася, можно перевязать?—спрашивает.

Жалко Парфенова, а говорю:

— Подожди, через пять минут перевяжешь. Вот займем окопы, и перевяжешь. А пока—вперед.—А сам думаю: «Никакая уж перевязка Парфенову не поможет, когда целая очередь в живот».

Не послушался меня Никитин, остановился. Нагнулся над Парфеновым, а пуля ему прямо в лоб. Так и уткнулся он в ноги дружку своему... Окопы, конечно, мы тогда взяли. Но мало кто из тех ребят вышел из боя. Всего не расскажешь. Ладно! Утро уж скоро. Спать пойдем. Задержал я тебя.—Он тяжело вздохнул и бросил недокуренную сигарету.—А уж больно ты похожа на Никитина, так похож, что не уснуть мне сегодня.

...Утро было холодным. Сырой ветер гнал на восток серое небо. Рваными провисшими хлопьями оно чуть не касалось крыш.

Затянув потуже капюшон штормовки, я пошел прощаться с лодками.

На берегу было пустынно и неуютно. Ветер здесь был еще сильнее. Он срывал с волн седые гребни и холодной россыпью бросал их в лицо. По мокрым камням мокро шуршала крапива. На осоках тревожно галдели взъерошенные грачи.

Василий Максимович встретил меня у ворот.

— К лодкам ходил?

— К лодкам.

— Наверно, уж полны воды?

— Полны.

Проснулись ребята. Мы грузили в машину экспедиционный скарб, и редкие крупные капли с крыш падали на брезент. Василий Максимович суетливо нам помогал и все не отходил от меня.

— Натоптали мы вам. За неделю теперь не отмыть.

— Ничего, ребята. У нас всегда люди, привыкли. Село у нас такое—дорога здесь начинается. Выйдут из

гор, обогреться надо. Зашли как-то к нам туристы. Тоже вымокли. Подал им по стаканчику, мать накормила. «Хорошо!»—говорят. Проводил до околицы, мать наложила в мешки на дорогу огурцов. И как-то радостно стало, что люди помнить будут.

Открыли ворота. Выехали на улицу. Стали прощаться.

— Спасибо за все, отец!

— Заезжайте еще, если будете в наших краях.

— Спасибо. Если будем, обязательно заедем.

— Заезжайте еще,—растерянно повторял Василий Максимович и все не отпускал моей руки.

Я уже встал на колесо грузовика.

Вдруг он как-то неловко и суетливо обнял меня, мокрыми глазами уткнулся мне в плечо.

— Слушай, приезжай как-нибудь ко мне, а? Погостишь. Мед будет. Потешь старика. Уж больно ты похож на Ванюшку Никитина. Приезжай, а?

Я растерянно молчал.

— Приезжай, а?—плечи его дрожали, он старался заглянуть мне в глаза, а я не мог выдержать его взгляда.

Он вдруг выпрямился, резко отвернулся, стыдливо вытер рукавом глаза и, сгорбившись, не оглядываясь, пошел к дому. На крыльце стояли четверо его сыновей.

— Поехали!—глухо выдавил я.

Непонятная горечь перехватила горло.

# Перед дальней дорогой

---

Пусть, что было — останется  
за спиною.  
Мы уходим вперед.

**А. Городницкий.**

Сначала ему показалось, что проснулся он от тишины. Но смутно догадывался: причиной тому был какой-то звук, может быть, даже стук в окно.

Доронин открыл глаза и сразу все вспомнил: что больше никогда ее не увидит, что до отлета осталось семь дней, самых мучительных дней, и куда-то их нужно деть—и он был не рад, что проснулся.

Тишина пустого старого дома была густой и затхлой. Редкий звук с улицы проникал сюда, и было горькое ощущение, что за эти полчаса, на которые он смог забыться, он проспал что-то очень важное, может быть, самое главное.

В саду невнятно стукнуло. Доронин вздрогнул, он как раз думал о том, что никогда не сможет простить себе своей нерешительности.

Через некоторое время стук повторился. Это падали

яблоки. Теперь Доронин знал, что проснулся от их стука о землю.

Куда деть эти семь оставшихся дней? Куда их деть? Может быть, на это время куда-нибудь уехать? Но куда?

В саду гулко и печально падали яблоки.

А что, если поехать туда, в Провальное урочище, к пропасти? Ведь только там он был счастлив. Как он не подумал об этом раньше? Конечно же: перед дальней дорогой он не может не проститься с местами, где был по-настоящему счастлив.

Доронин включил свет, посмотрел на часы: на поезд еще можно было успеть. Несколько мгновений он колебался, потом быстро оделся, забросил за плечо пустой рюкзак и выбежал на улицу. В темноте над домами зарождалась гроза. Чуть успел добежать до трамвая, как на город обрушился оглушительный ливень.

По асфальту рядом с трамваем поплыли голубые и оранжевые всплески реклам. Города грустнеют после дождя, но они становятся особенно грустными и близкими, когда через несколько дней ты уезжаешь из них навсегда. Запоздавшие прохожие прятались от дождя в подъездах и под навесами крыш, трамвай останавливался, они бежали к нему из темноты, и улыбки женщин светились так же загадочно и чисто, как прохладные капли дождя, запутавшиеся у них в волосах.

Мимо проплыло кафе, по-ночному пустое, освещенное изнутри полусумраком единственной лампы. Оно, наверно, было ничем не лучше других, это кафе. Но за шесть лет, прожитых в этом городе, оно стало Доронину родным, иногда оно заменяло ему дом и друзей. Вернувшись из очередной экспедиции, он любил посидеть здесь, незаметно наблюдая за посетителями, или смотреть в окно на косые струи дождя по асфальту. В дождливые вечера кафе было особенно уютным. Но в последнее время в нем стало слишкомлюдно,

рядом вырос новый заводской корпус, и Доронин несколько раз собирался сменить кафе, но так и не сменил. Почему-то он прощал ему все: и тесноту, и неуют. Может быть, потому, что иногда сюда заходила она.

И сегодня Доронин был здесь. Сидел в углу и перелистывал еженедельник «За рубежом». Время от времени посматривал на дверь.

Потом еженедельник был прочитан от первой строчки до последней. Оставалась лишь одна большая статья о Чили. Несколько раз Доронин ее пропускал, уж очень статья была большая, теперь же больше нечего было читать.

Конечно же, она давно уехала. Доронин был почти уверен в этом, но все равно время от времени посматривал на дверь.

«В Чили очень много контрастов,—читал он.—На ее крайнем севере лежит знойная пустыня Атакама, на крайнем юге — ледники Огненной Земли».

Уже повесили на двери дощечку «Закррито», но он все еще чего-то ждал и, нисколько не вдумываясь в смысл строк, читал длинную статью о Чили.

Потом затолкал еженедельник в урну и уже в который раз—самой дальней дорогой, чуть ли не в обход города—поплелся домой.

...Вагон был переполнен, даже негде было присесть. Спасаясь от духоты, Доронин вышел в тамбур. За окном качалась ночь. Прижавшись лбом к грязному стеклу, думал о том, что, наверно, поехал напрасно. Всю дорогу придется промучаться на ногах, а завтра, кроме тряского восьмидесятикилометрового пути в автобусе, еще полсотни километров нужно идти пешком глухим лесом. А он не взял даже штормовой куртки или плаща, не говоря уже о палатке.

Доронин сам толком не знал, зачем придумал эту



поездку. Просто куда-то надо было деть эти последние семь дней. Просто больше не с кем было прощаться.

Сколько ни мучался, он так и не мог до конца понять, почему развалилась экспедиция. Где была первая трещина?

Он снова и снова вспоминал все сначала. С самого первого дня, когда случайно попал в эту спелеологическую экспедицию. Тогда он, конечно, думать не думал, что уже через год она станет чуть ли не единственным смыслом его жизни. И не будет никого ближе этих парней.

«Мы ведь составляли как бы единое целое,—с горечью вспоминал Доронин.—По крайней мере мне всегда казалось так. Может быть, иногда недоедали, может, иногда было трудно, но ведь все соглашались, что эти два экспедиционные месяца в году—самые счастливые. Два месяца в году. Возвращаешься и целый год живешь ожиданием следующего полевого сезона. Пещеры научили, заставили несколько иначе, что ли, как бы со стороны, посмотреть на себя и на окружающий мир. Когда по несколько суток не видишь солнца и не знаешь, что там, на Земле. Не можешь уснуть, торопишься на нее. И насколько она еще прекрасней, когда, наконец, возвращаешься на нее. Ощущаешь запах каждой травинки в отдельности. Бросишься в траву, раскинешь руки—и смотришь в небо... Только ради этих нескольких минут возвращения стоило вновь и вновь уходить под землю. И вдруг все к черту!..»

Одно время он еще пытался латать экспедиционные дыры, пока не понял, что это бесполезно, так же, как бесполезно воскресить давно умершего человека. Потому что уже давно не было самого главного. Те невидимые связи, которые надежно объединяли их в единый сгусток мысли и крови в горах и в пещерах, бы-

стро рушились в городах. Он это слишком поздно понял.

Он слишком поздно понял, что эти связи снова и снова нужно проверять дорогой. Иначе они расползаются, как гнилая пряжа: в городах много соблазнов, а Дорога трудна. И, как это ни горько, все нужно начинать сначала. Но начинать все сначала здесь он уже не мог. Доронин решил уехать. И как можно дальше—на Камчатку.

Но почему же все-таки экспедиция развалилась?

Да, она была полулюбовительской, и у каждого помимо ее были другие дела, к которым рано или поздно нужно было возвращаться или с которыми рано или поздно нужно было рвать. Да, это одна из причин. Но ведь не главная. Какая же главная? Он снова все стал вспоминать. Всех ребят вместе и каждого в отдельности. И вдруг замер от неожиданного открытия:

«Экспедицию растащили женщины, развели по теплым и спокойным углам. Им давно не очень нравилось все это, но до поры до времени они вынуждены были терпеть. А как только выдался удобный случай, заявили о своих правах. Они мудры своим инстинктом, женщины. Для них все это—поиски, дорога, романтика, работа—блажь, с которой до поры до времени приходится мириться. Хотя, может, они первоначально-то и полюбили, выделили среди других мужчин как раз за эту блажь. Но главное в жизни все-таки не это, главное—продолжить жизнь. И они со временем стараются оторвать мужчин от дорог и привязать к дому. Они, разумеется, по-своему правы. А в конечном счете они всегда оказываются правы. Но доходят они до этого не умом, а инстинктом... Да, экспедицию растащили женщины, но это только половина дела, причина ее развала не только в этом. Я сам дал им повод растащить ее. Вместо того, чтобы цементировать экспедицию, ме-

шать развалу, полгода, как сопливый мальчишка, бегал по городу в поисках встречи. Ребята не могли не видеть этого...»

«А может быть, ты совсем зря делаешь из этого трагедию?—спрашивал он себя.—Может быть, все так и должно быть?» Просто с самого начала у нас были разные дороги. Одно время нам было по пути, но в один прекрасный день твои спутники нашли то, что искали. Дойдя до первых родников, они остановились. А тебе этого было мало, и ты пошел дальше через знойную и холодную пустыню—к морю. И чем дальше ты шел, все более трудным становился твой путь. И у тебя уже появились сомнения: нужно ли было идти к морю? Ведь можно и не дойти? Может не хватить сил. Но повернуть назад было уже нельзя, как нельзя повернуть назад жизнь.

Но у этих родников оставалась она! Это не давало Доронину покоя.

Его угнетало, быть может, не столько то, что больше никогда ее не увидит, сколько то, что он так ей ничего и не сказал, что она ничего не знает о его любви.

Но не потому ли он так ничего ей и не сказал, что боялся, что она тоже может оторвать его от дороги? И, скорее всего, он ее придумал, а в жизни она совсем другая и его ждало бы глубокое разочарование.

А если она еще лучше, чем он придумал?..

...Глаза слипались от усталости, затекали ноги. Доронину казалось, что поезд нарочно идет так медленно, издевательски долго дремлет на слепых от дождя полустанках.

«Куда? Куда и зачем я бегу? Ведь я знаю, что и там не будет покоя. Ведь я знаю, что мне не спрятаться от любви к ней ни на Дальнем Востоке, ни на Севере. Зачем же я бегу?»

Грустно отбивали склянки, совсем как на пароходе, и поезд медленно трогался дальше в потоки воды.

Ты позабыла: я свободы  
Для заблужденья не отдам;  
И так пожертвовал я годы  
Твоей улыбке и глазам,  
И так я слишком долго видел  
В тебе надежду юных дней,  
И целый мир возненавидел,  
Чтобы тебя любить сильней.  
Как знать, быть может, те мгновенья,  
Что протекли у ног твоих,  
Я отнимал у вдохновенья!  
А чем ты заменила их?<sup>1</sup>

Доронин снова и снова повторял про себя эти горькие строки. Но откуда ей знать об этом? Откуда ей знать о том, что он—человек, в общем-то, не робкий, которому приходилось ходить там, где до него вообще никто не ходил, и который не раз смотрел в глаза смерти,—почти полгода убил только на то, что метался по улицам в поисках случайной встречи, чтобы встретить и,—ничего не сказав, пройти мимо.

На одном из полустанков Доронин увидел на скамейке плачущего мужчину. Невольно поежился и торопливо отвернулся. Всегда тяжело видеть слезы взрослого человека, а тут плакал мужчина: высокий, широкоплечий... И Доронин подумал: «А может, как раз в том и беда моя, что никогда в жизни я больше не заплачу? Я стал слишком жестким. И жестоким—прежде всего к самому себе».

На конечной станции ему повезло: он попал на первый автобус и уже в двенадцать часов был в Никольском. Дальше нужно было идти пешком.

Несколько дней подряд здесь шли ливневые дожди, и узкая лесная дорога превратилась в густое глинистое месиво.

---

<sup>1</sup> Стихи М. Ю. Лермонтова.

Доронин до мельчайших подробностей знал эту дорогу, но впервые шел по ней праздным странником, к тому же еще один, и чувствовал себя поэтому неловко.

Вот здесь в шестьдесят четвертом целый месяц сидели с грузом в ожидании лошадей. И весь месяц висели над лесами гнилые дожди. А вот здесь в шестьдесят пятом сломалась машина, и дальше все три тонны груза пришлось перетаскивать на себе. А вот тут двое суток сидели без воды, а потом кипятили жижу из зловонных луж. Вот и старое костровище...

До темноты Доронин надеялся дойти, поэтому шел без привалов. Над редкими полянами висел густой влажный зной, надоедали оводы и комары.

Гроза обрушилась внезапно. Лес зашумел, застонал, закрипел, где-то упало подгнившее дерево, но Доронин даже и тут не остановился. Была дорога каждая минута—ночь без палатки в сыром, полном комаров лесу не обещала ничего хорошего.

Ливень был оглушительным и коротким, через какой-нибудь десяток минут снова светило солнце, и еще более густая и неподвижная духота повисла над глухой дорогой. Оводы и комары налетали теперь целыми тучами и легко прокусывали мокрую, липнущую к телу рубашку.

Как Доронин ни торопился, ночь догоняла его. На одном из крутых спусков он оступился и о сухой сук в кровь разбил колено. Можно было переночевать у одного из ручьев, а утром не спеша дойти до избушки, но у него не было палатки, а потом не терпелось увидеть пропасть, избушку...

К урочищу подходил уже в сумерках. Еще с самого начала пути с волнением думал, куда пойдет сначала—к пропасти или к избушке. Но так и не мог решить. Хотелось как можно скорее и туда и сюда... Избушка... Он рубил ее собственными руками. Голодные, ус-

тавшие, возвращались ночью на волшебный свет ее единственного окошка, под землей мечтали о ее теплом уюте...

«А разве забыть те редкие счастливые дни, когда оставался дежурным на Земле в базовом лагере! Целый день на Земле!

Просыпался в такие дни обычно рано—чуть начинало светлеть окошко. Осторожно спускался со скрипучих нар, натягивал сапоги. Мягкий предутренний сумрак висел над долиной. В складках скал серебристыми громадами лежал туман, и не сразу разберешь, где туман, а где скалы.

Почему-то волновался. Скорее всего это было теплое волнение предстоящих забот, простых земных забот.

Вынимал из-под избушки заранее припрятанные специально для этого дня бересту и обрубок сухой доски. Нащипывал из него желтой лучины.

На холодную золу клал несколько спиралек бересты, сверху крест-накрест накрывал их лучинками.

Доставал из кармана коробок со спичками. Желтое мягкое пламя касалось бересты. Она начинала шевелиться, трещать. Лучинки золотились, потом темнели.

Теперь можно было класть тонкие ветки, огонь справится и с ними. Костер начинал весело трещать. Тогда я вешал на перекладину ведро с водой. Отогревал озябшие руки. Сумрак постепенно светлел, а над рекой зарождался новый, уже предутренний туман. Я прислушивался к рассвету и подкладывал в шелестящий огонь смолистые сучья. Рядом, в избушке, спали мои товарищи, и я боялся неосторожным шорохом разбудить их. И хотелось как можно лучше приготовить для них завтрак.

Потом я слышал скрип нар. Это, конечно, Степаныч. Только он просыпался так рано. Слушал, как он выбира-

ется из спального мешка, осторожно спускается с нар. Поеживаясь от холода, он на корточки подсаживался к костру. Протягивал к нему руки.

— Замерзли?—спрашивал я.

— Да, к утру немного подмерз,—обычно отвечал он.

Он подбрасывал в костер несколько тоненьких веток, тот в ответ благодарно трещал.

Когда завтрак был готов, я подходил к избушке и открывал настежь дверь; сосновый потолок от солнца становился желтым.

Потом я смотрел, как ребята умывались. Ели. Натягивали грязные комбинезоны. Уходили к пропасти...

... Уберу кол, подпирающий дверь, полынью подмету пол...»

Но, не доходя до избушки с километр, свернул с тропы налево—к пропасти. Конечно же, сначала он увидит ее. Но, к его удивлению, чем ближе он подходил к ней, волнение все больше сменялось какой-то тоской, досадой. Окрестности пропасти еще в первую экспедицию поразили его необычным сочетанием горной страны и северной грусти почти рязанских перелесков. С каждым годом привязанность к этим местам крепла. А сегодня ему вдруг все показалось серым и скучным. Но Доронин еще не мог понять: почему? И, пробираясь к пропасти широким логом, с раздражением раздвигал мокрую, в рост человека, траву.

Вот и пропасть. Чтобы справиться с волнением, остановился.

Свесив ноги над стометровым обрывом, вслушивался в глухой рокот подземной реки. Сколько горечи и радости, сколько прекрасных минут он испытал в этой бездне! Доронин всегда думал о пропасти с нежностью и рассказывал о ней, как о живом существе, а сейчас она показалась ему зловещей. Он даже содрогнулся от

мысли: если сейчас вдруг оказаться там на двухсотметровой глубине, вдали от солнца, одному?

С какого-то уступа вниз загремел камень. Пропасть ответила мертвым эхом. Доронин неприятно вздрогнул, попятился назад. Торопливо выбрался из долины наверх. Пошел к избушке.

Но избушки... не было.

Вокруг большого грязного костровища, на том месте, где она стояла, качалась высокая крапива.

Несколько минут Доронин растерянно стоял на краю поляны, потом осторожно подошел к костровищу. Он шел в гости к лучшему другу, а пришел на похороны. Доронин зло пнул подвернувшуюся под ноги ржавую консервную банку, и, сгорбившись, не оглядываясь пошел прочь. Он вдруг понял, что необдуманным приездом обворовал себя, погубил свои лучшие воспоминания. Он догадывался об этом и раньше—еще в поезде, но тогда почему-то не хотел себе в этом признаваться.

На ночлег устроился в небольшой нише под навесом скалы. Даже не стал разводить костра. Ноги и спину жгли комары. И чуть стало светать, был уже на ногах. Доронин решил больше не оставаться здесь ни на час.

Уходил другой дорогой: припадая на раненую ногу, стал спускаться по ущелью к реке. На ее берегу около охотничьей зимовки собирался связать небольшой плот и спуститься на нем до первой деревни.

И тут Доронин допустил еще одну ошибку. Эта тропа, выходящая сначала по большим полянам, потом по темному сырому лесу, потом по ущелью, была одним из самых теплых его воспоминаний. Теперь она поросла высокой травой, на первых же метрах Доронин до последней нитки вымок и, кроме глухой неприязни, к тропе сейчас ничего не испытывал.

Зудела изъеденная комарами и потом спина и, дойдя до реки, Доронин сразу же полез в воду. Но окунуть-



ся не успел: кто-то окликнул его. Доронин оглянулся: это был Абугали, знакомый по экспедициям охотник-промысловик. Он стоял на крутом берегу почему-то на коленях и в одних трусах.

— Иди сюда!—хрипло крикнул он.

Доронин стал неохотно выбираться на берег. Он был не рад встрече. Сейчас начнет расспрашивать, нужно будет отвечать.

— Где твой врач?

— Нет врача. Один я.

— А где твоя экспедиция? У тебя в экспедиции был врач.

— Нет больше экспедиции. Один я.

— Плохо со мной. В груди жжет,— уныло и спокойно сказал Абугали и опустил голову на грудь.

— Давно заболел?

— Нет. Вчера утром. В желудке жжет.

— Не отравился? Не было у тебя каких-нибудь залежавшихся консервов?

— Вроде бы нет.

— Рвать тянет?

— Тянет, но больше уже не могу.

— Надо больше пить, чтобы вырвало. Хорошо бы, конечно, молока, но можно и воду. Есть у тебя какая-нибудь аптечка?

— Посмотри в зимовье. Что-то было.—Говорил Абугали с трудом, а руки были серыми.

Доронин побежал в зимовье, в душе досадуя на вынужденную задержку: небось, всего-навсего расстройство желудка или перепил, за ним это водилось.

Когда вернулся, Абугали лежал на спине, широко раскинув руки, на которых все отчетливее проступали фиолетовые пятна, изо рта шла пена. Доронин склонился над ним, затаил дыхание—пульса не было.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что До-

ронин даже не успел растеряться. Опустившись на колени, он спокойно и долго смотрел в стекленеющие глаза. Потом отбросил в сторону принесенные таблетки, сел рядом с Абугали и, обхватив колени руками, смотрел, как помутневшая от дождей вода одно за другим уносила с отмели отставшие весной от молевого сплава бревна.

Так он сидел, наверно, с час, а может, и больше. Смотрел на воду и удивлялся своему спокойствию, с каким отнесся к неожиданно встретившейся смерти. Но нужно было что-то делать. Доронин встал, еще раз тронул пульс, пошел к зимовью. Подобрал валявшуюся на тропинке узду, повесил на гвоздь. Оглядел горы. Кругом на десятки километров лежала глухая тайга, и они были в ней только двое.

Осторожно поднял на плечи уже остывшее, а потому еще более тяжелое тело, пятясь, потащил его к зимовью. Ноги покойника неприятно стучали по гальке.

Потом Доронин неторопливо оделся, накрыл Абугали плащом, висевшим на стене, пошел ловить коня. Наверху, на плато, примерно в пятнадцати километрах отсюда было еще одно зимовье, и там могли быть люди.

В ущелье Доронин спешил и по крутой каменистой тропе повел Сивого в поводу. На одном из узких поворотов, почти уже на самом перевале, тропу преграждала большая плита. Сивый остановился, боязливо косился вниз и никак не хотел перебираться через плиту.

Доронин всем телом повисал на поводу, умолял Сивого, грозил—все было напрасно.

— Ты понимаешь,—пытался втолковать ему Доронин.— Ты понимаешь, хозяин твой умер?

Сивый же ничего не хотел понимать. Он широко уперся ногами в камни и не трогался с места.

Тогда Доронин в бешенстве выломал прут и с оже-

сточением стал колотить коня по морде. Но тот только в такт ударам мотал головой. Видимо, за жизнь его немало колотили, Сивый так грустно и спокойно смотрел на Доронина, что Доронин виновато отбросил в сторону прут и, закрыв голову руками, в отчаянии сел на камни.

Пели комары, вверху шумел на ветру лес.

Вдруг Сивый мотнул головой и, скользя подковами, осторожно полез через плиту. Доронин удивленно смотрел на него.

Сивый перелез через плиту, остановился.

Доронин все еще медлил.

Сивый оглянулся.

Тогда Доронин торопливо забрался в старенькое облезлое седло, и Сивый, не дожидаясь понуканий, сразу взял в галоп. Ветви хлестали по лицу. На одном из крутых поворотов Доронина чуть не выбило из седла полуповаленной липой.

Зимовье было пустым. По тому, как заросла тропинка к ручью и заплесневело сено на нарах, Доронин понял, что люди здесь не были давно. Он повернул коня и уже в темноте поскакал назад.

Ночь была темной и смутной. Абугали, укрытый одеялом и плащом, лежал на полу. Доронин устроился на нарах. Всю ночь шел дождь. Глухо ворочались, словно стонали, отставшие весной от сплава, а теперь снимаемые с отмели прибывшей водой бревна. Выла откуда-то появившаяся собака Абугали.

Утром Доронин запряг коня и, пересилив отвращение к уже начинавшему пахнуть трупу, с трудом взвалил его на телегу. Ноги больше чем по колени свисали позади телеги. Пришлось снять с крыши зимовья несколько лубков и подсунуть их Абугали под спину.

Еще в самом начале ущелья Доронин понял, что из этого ничего не получится. Сивый был весь в пене еще

не добравшись до первой россыпи, а впереди была злополучная плита. Была дорога другим берегом реки, но река за ночь так прибыла, что о переправе нечего было и думать.

Чтобы развернуть телегу, пришлось распрягать Сивого. Доронин снова спустился к реке. Стал искать лодку. Была же она раньше. Наконец, нашел в заводи под кустами. Ведром вычерпал воду. Сделал на носу настил из жердей, перетащил на него Абугали. Распряг Сивого, но тот не уходил.

— Иди, иди,—похлопал его по спине Доронин.—Гуляй, придет новый хозяин, заберет тебя.

Сивый грустно заржал, поднялся на берег, снова заржал, но никто ему не ответил. Эхо отдалось у перевала. Сивый медленной рысью побежал вверх по реке, снова и снова тревожно ржал.

Доронин оттолкнулся от берега.

— Ну давай, Абугали, в последний путь.

Заскулил, заметался по берегу пес. Прыгнул в воду, потом в лодку. Виновато и умоляюще смотрел на Доронина.

— Ну давай, втроем будет веселее.

Взял в руки весла, выгреб на стремнину. Рядом, глухо стучаясь о борта, плыли отставшие весной от сплава бревна. Неожиданно подумал, что он сам похож на отставшее от сплава и потому отяжелевшее бревно.

На повороте за перекатом Доронин опустил весла и долго смотрел на пустынный берег. Он знал, что видит его в последний раз. Но странно: он уже не испытывал досады, что приехал сюда. Нет, не зря, совсем не зря он сюда поехал. Теперь он знает, что будет делать. Пришла твердость и ясность решений. Неожиданная и нелепая смерть Абугали странным образом встряхнула его и поставила на ноги. Надо догонять ушедший к морю сплав. Надо освобождаться от лишней воды и дого-

нять ушедший сплав, чтобы стать, может быть, скрипкой, веслом, перилами моста, рамой окна, стулом, телеграфным столбом...

Доронин посмотрел на часы и стал ожесточенно грести. В запасе у него оставалось всего трое суток. Нужно было успеть к самолету.

Но это еще не все. За эти трое суток он должен найти ее. Он знает, что сейчас ее нет в городе, уехала в отпуск куда-то в деревню. Но он вытрясет из подруг ее адрес.

А если не успеет?.. Нет, откладывать отлет на Камчатку он не будет. Его давно ждут вулканы. Он—геолог. Если пещеры дают возможность заглянуть в глубь планеты всего на несколько сотен метров, то вулканы... через вулканы, словно через окна, земная магма разговаривает с космосом.

Если он не успеет ее найти, он напишет ей письмо с дороги, «с борта самолета», как любят выражаться официальные лица: «Пролетая над нашей маленькой и прекрасной, до конца еще не изученной планетой, с борта самолета шлю вам...» И она приедет к нему на Камчатку. А если нет? На нет и суда нет. Значит, она совсем не та женщина, за которую он ее принял. Значит, на самом деле он ее придумал. Значит, все еще впереди.

# Четверо наедине с горами

---

Четверо гляциологов шли по леднику. В две связки. Четверо шли по леднику и молча улыбались друг другу: была прекрасная погода, и трудные горы оставались позади. В городах не увидеть такой улыбки. Так могут улыбаться лишь люди, которые много дней шли в горах, связанные одной веревкой, и теперь благополучно возвращались вниз.

Каждый думал о своем. По разным причинам люди уходят в горы. Одни—искать себя. Другие наоборот: убежать от себя. Но от себя никуда не убежишь. Пока идешь к цели, вроде бы забудешь обо всем, что осталось внизу—одни только горы. Но стоит повернуть назад, все снова наваливается тебе на плечи.

Четверо шли по леднику, и каждый жил уже той жизнью, что ждала его внизу.

Вдруг тот, что шел первым, покачнулся, взмахнул руками. В том месте, где он только что шел, путь остальным перерезала огромная трещина.

Второго рвануло веревкой, бросило на ледник. Он пытался встать, но его неумолимо волочило к открывшейся трещине.

Сбросив рюкзаки, Третий и Четвертый бросились ему на помощь, но бежать по глубокому свежему снегу было очень трудно.

Второй сумел зацепиться за небольшой уступ под снегом, но удержался он на нем лишь мгновение, его снова опрокинуло на спину и поволокло дальше.

Третий и Четвертый путались в снегу и видели, что уже поздно. Но на самом краю трещины Второму удалось воткнуть в лед штычок ледоруба. Распластавшись на льду, он повис над обрывом.

Третий и Четвертый бежали, теряя последние силы. Вдруг Второй выхватил нож и одним ударом перерубил натянутую, как струна, веревку.

Третий и Четвертый ошеломленно остановились, словно задохнулись горячим свинцом. Из трещины донесся отчаянный вскрик, а за ним глухие удары падающего тела.

Потом—несколько мгновений—была гнетущая тишина.

Потом Второй встал и сделал несколько быстрых шагов от трещины. В нерешительности остановился.

И снова была цепенящая тишина. Словно горы звенели, и вот-вот что-то должно было лопнуть.

Двое стояли в глубоком снегу против Второго, и обдумавшие от бега сердца колотились в висках.

В глазах Второго метался ужас. Он сделал еще один шаг им навстречу, но двое стояли, не шелохнувшись. Он покачнулся, обхватил голову руками и, спотыкаясь, пошел назад к трещине. Остановился на краю, снова шагнул в сторону и тяжело осел в снег.

Еще напряженнее звенели горы.

Вдруг Третий сорвал с плеча карабин.

— Встань!—закричал он, но крика не получилось, словно в разорванном горле клокотала кровь.—

Вста-а-ны!—закричал он, и эхо испуганно заметалось в скалах.

Второй медленно и удивленно поднимался. На его лице бродила странная улыбка, и зачем-то он старался стряхнуть со штормовки снег.

Третий вскинул карабин, но руки его дрожали, и мушка карабина обездумело металась по вершинам гор.

Четвертый бросился к Третьему, толкнул его в плечо, грохнул выстрел, и оба, поскользнувшись, упали в снег.

Боялись открыть глаза, и кованый ботинок Третьего уперся в лицо Четвертому.

Одновременно вскочили... Второй по-прежнему стоял на краю трещины, и странная улыбка корчилась на его сером лице.

Двое бросились ему навстречу. Второй шире расставил ноги и остался на месте. Странная улыбка не сходила с его губ. Он ждал решения своей судьбы. Но они больше не обращали на него внимания. Они лихорадочно вбивали в лед крючья и разбирали веревки.

— Ромка!—с надеждой крикнул в трещину Третий, но в ответ была гнетущая тишина.—Ро-о-омка!—повторил он в отчаянии, но в трещине по-прежнему было тихо.

Второй в оцепенении стоял в стороне, и улыбка мертвой маской застыла на его лице.

Словно очнувшись, он шагнул к ним.

— Ребята, что мне делать?—прохрипел он.

Но они больше не обращали на него внимания, они разбирали веревки.

— Ребята!

Они не обращали на него внимания. Они готовились к спуску.

— Пристрелите меня!



Они не обращали на него внимания. Где-то внизу лежал их товарищ, живой или мертвый.

— Ребята, пристрелите меня!—прошептал он.

— Не мешай,—устало ответил наконец Четвертый.— Не мешай! Уйди! Сейчас не до этого...

Но он никуда не уходил. Его присутствие угнетало их, он видел это, но ему некуда было идти. И он стоял—сгорбившись и низко опустив руки.

Тянулись секунды. Складывались в минуты, долгие, как столетия. Напряженно шуршала тишина.

— Что стоишь?—не выдержал Третий.—Держи веревку.

Второй не верил своим ушам. Он не ожидал от них такой милости. Еще пару минут назад он мог, улыбаясь, хлопнуть каждого из них по плечу, теперь же между ними была страшная бездна.

— Ну, чего стоишь?! Держи или убирайся к черту!—зарычал Третий, и Второй бросился ему на помощь.

Третий спустился в трещину. Второй и Четвертый остались на страховке и не смотрели друг на друга. Каждый раз, когда случайно прикасались плечами, оба вздрагивали. И оба напряженно вслушивались в веревку.

Наконец снизу послышался крик.

Но они еще не верили, что это правда.

— Повтори!—неуверенно крикнул вниз Четвертый, и оттуда снова донеслось:

— Жи-ив! Жи-ив!—и звонкое эхо глохло в ослепительно белых снегах.

Четвертому хотелось кричать от радости, но надо было держать веревку, и было почему-то противно показывать свою радость перед Вторым. А Второй ссутулился еще больше, теперь ему придется смотреть в глаза не только Третьему и Четвертому, но и тому, что раньше шел первым.

Подъем из трещины был невероятно долгим и труд-

ным. У того, что раньше шел первым, было сломано несколько ребер, рука и нога, и каждое движение причиняло ему сильную боль.

Невероятнейшие приспособления, варианты узлов и перетяжек... Бесчисленные спуски и подъемы... И уже давным-давно потеряли счет времени. И ожесточеннее всех работал Второй. Он не поднимал глаз и молча вбивал крючья. Рискуя сорваться, без страховки повисал на ледяных стенах, устраивая очередную перетяжку; выходил наверх, снова спускался...

Потом тот, что раньше шел первым, на штормовках лежал на снегу. Двое вязали самодельные носилки, а Второй, отвернувшись, стоял в стороне.

...И снова четверо шли в горах. Час за часом. Один пробивал тропу. Двое несли носилки. И все молчали.

Потом началась пурга. Горы растворились в белой тьме, и не было видно, куда идти.

Натыкались на скалы, пятились назад, надеясь обойти их стороной, и снова возвращались на свои следы. Заблудились. Сидели под навесом скалы и слушали тоскливое завывание ветра...

— Бросьте меня, ребята,—сказал вдруг тот, что раньше шел первым.

Трое молчали.

— Оставьте меня здесь.

Трое молчали.

— Потом вернетесь...

— Брось кривляться!—не выдержал Третий.—Брось кривляться, как в красивых романах!—зло повторил он.—Ведь знаешь, что не бросим. Не имеем права бросить. Так какого же черта ты треплешься?

— Я хотел как лучше.

— А если хочешь как лучше, лежи и молчи.

Уже много часов четверо кружили где-то на одном месте. Скалы и пропасти не выпускали из западни. Где-

то совсем рядом должна быть тропа, но горы растворились в белой тьме. Третий растянул ногу, и носилки нести уже не мог. Опираясь на ледоруб, он тащился сзади. Его карабин нес Второй.

И снова сидели под тем же самым навесом скалы.

Тогда ушел Второй. Он ничего не сказал, встал и ушел. Никто его не останавливал и даже никто не посмотрел ему вслед.

В сумерках стали ставить палатку. Ничего другого не оставалось делать. Шквальный ветер пронизывал насквозь одежду и вырывал из рук стылое полотнище. Потом лежали во тьме сотрясающегося от порывов ветра брезента и вслушивались в тоскливую жуть пурги. Тот, что раньше шел первым, стонал. Он замерзал, несмотря на то, что на него надели все, что только можно было снять, чтобы самым окончательно не замерзнуть. Его нужно было срочно спускать вниз, но за стенкой палатки свирепствовала пурга, и никто не знал, когда она кончится. Ждали утра.

Но утро не оправдало надежд. Пурга не утихала. И уже давно погас примус: кончился бензин.

Но тут появился Второй. Он появился внезапно, но никто не удивился его возвращению.

— Я нашел тропу. Надо идти,—глухо сказал он.

Теперь группу вел он. Уходил вперед, проверяя тропу, возвращался и брал в руки носилки. Снова уходил. И все молчали. И казалось, что этой дороге не будет конца. И смерть уже была нисколько не страшна. Она казалась избавлением, лечь бы в снег и уснуть. И черт с ней—с жизнью, и черт с ним—со всем, что осталось внизу. Только кончилась бы поскорее эта страшная дорога. Только кончились бы эти мысли. Но надо было донести вниз того, что раньше шел первым.

Потом они шли по долине среди цветов. И все, что случилось за перевалом, казалось им зыбким и страш-

ным сном. А может быть, ничего этого и не было, может, это действительно только сон? И хотелось броситься в траву и все забыть, но на носилках стонал тот, что раньше шел первым.

Потом они вышли на дорогу. Надо было радоваться: до ближайшего населенного пункта оставалось около двух километров. Но с каждым шагом они мрачнели все больше. Над ними висела гнетущая тень случившегося, и никто из них не знал, что они скажут людям.

Потом их догнал автобус. Это были туристы из ближайшего санатория. Они восторженной толпой окружили четырех измученных, с глубоко провалившимися глазами людей. Они впервые видели настоящих альпинистов, только что спустившихся с гор. А альпинисты даже не могли говорить, и, казалось, ничего не слышали. Широко расставив ноги, они угрюмо стояли посреди дороги, словно не рады, что спустились вниз.

Одна из туристок, молоденькая девушка, подбежала к альпинистам и смущенно сунула одному из них в руки растрепанный букетик придорожных цветов.

Тот, что раньше шел вторым, с ужасом смотрел на цветы в своих руках, словно это были не цветы, а букет страшных змей. Он растерянно повернулся к товарищам, но те хмуро отвернулись, в это время на носилках застонал тот, что раньше шел первым, и они склонились над ним.

В глазах Второго стремительно росло отчаяние. Губы его мелко и по-детски задрожали. Он покачнулся и пытался куда-то идти. Но идти было некуда, и он ошеломленно стоял на месте. И цветы сыпались на дорогу сквозь обмороженные черные пальцы.



# Билет в детство

---





# По адресу

---

Темной и звездной сентябрьской ночью я уезжал из Сочи. Билет купил еще неделю назад—и сразу стало легче оттого, что я, наконец, решился на этот шаг. И вдвое тяжелей—потому что знал: назад дороги не будет—несмотря ни на что, это прощание навсегда. Каждый день собирался сказать ей о своем отъезде, но все откладывал и решился только сегодня — где-то за пару часов до поезда.

Не принимайте меня за злодея. Все было совсем не так: я всегда ее любил, она никогда меня не любила, потому что любила другого, хотя тот уже никогда больше к ней не придет, потому что однажды не вернулся из патрульного полета. Пытаясь забыть ее, я уехал из города и два года ишачил разнорабочим в геологической партии на Сахалине, но ничего из этого не получилось. Два года я ждал от ребят страшной, но желанной для меня вести, что она, наконец, вышла за кого-нибудь замуж, тогда я уж, хочешь или не хочешь, успокоюсь. Но прошло два года, замуж она не выходила, и я не выдержал, вернулся.

Вернулся и понял, что спорол непоправимую глупость, потому что ничего не изменилось; но была уже зима, на Сахалин в это время возвращаться было глупо, я устроился художником-оформителем в рекламной конторе, кое-как дотянул до весны, потом с альпинистами собрался на Памир, но в самый последний момент с экспедицией все расстроилось. Экспедиция была моей последней соломинкой, и теперь я не знал, куда себя деть. О работе—я имею в виду живопись—старался не думать. Думать о ней было просто страшно: за год я ни разу не взял в руки кисть. Да и два сахалинских года пролетели впустую. Все, что написал там, было вяло и сыро.

Поэтому я старался просто не думать об этом. После конторы бесцельно болтался по городу, читал объявления об организованном наборе рабочих в Сибирь и на Дальний Восток, но так куда и не уехал.

Как-то на улице наткнулся на нее. По глазам видел: была рада встрече. Удивилась, что я в городе, она слышала, что улетел на Памир. Я рассказал ей все.

— И куда ты теперь?—спросила.

— Не знаю. Может, опять на Сахалин.

— ...Поехали...со мной на юг, к морю.

— ...С тобой?!

— Да! Хотя немного отдохнешь перед своим Сахалином.

Я знал, что ни в коем случае ехать нельзя, потому что совершенно ничего не изменилось, она по-прежнему любила своего погибшего летчика. Просто, может быть, сама того не сознавая, пожалела меня. Или почувствовала минутную теплоту. Мы оба знали,—только убедились в этом, к сожалению, гораздо позже,—что делали то, чего ни в коем случае нельзя было делать. Потому что этим торопливым шагом убили первые искорки надежды, промелькнувшие между нами. Искры, которые могли бы, если с ними поступить осторожно, разгореться, но



каждый был так одинок в те дни и каждому так хотелось тепла, и каждый обманывал себя тем, что а вдруг все обойдется.

Но обойтись не могло, и в этом не наша вина, в первый же день мы поняли, что допустили непоправимую ошибку. Мы жили, как живут два случайных человека, попавших по воле дежурного администратора в один гостиничный номер, и самое горькое, что у каждого на Земле не было человека ближе.

Еще перед отъездом в Сочи, словно предвидя, чем все это кончится, я на всякий случай написал на Сахалин: будет ли мне место, если вдруг вернусь. Правда, когда уезжал, в экспедиции говорили: «Если что, возвращайся в любое время». Но кто знает. Мало, что ли, на свете таких же, как я, не устроенных в жизни людей. Все они тянутся глушить тоску на край света. Письмо я написал с обратным адресом: «Сочи, до востребования», одновременно написал знакомому художнику в Вильнюс, как-то на Сахалине он напросился с нами в маршрут, и пару недель мы вместе чуть не сходили с ума от гнуса. В свой город возвращаться до ужаса не хотелось, и каждый день я ходил на почтамт, но с Сахалина ответа все не было. И утром мы с ней снова шли на пляж и, опрокинувшись глазами в бездонное небо—временами его прочерчивали белые следы патрульных самолетов, ведь где-то рядом была граница,—каждый думал о своем.

Ночи были душными и темными. Мы лежали в противоположных углах комнаты—подолгу с открытыми глазами, и каждый знал, что другой тоже не спит. А под утро я просыпался от коротких и оглушительных субтропических ливней, каждый раз они больно возвращали меня к реальности. Первой мыслью было: лучше бы совсем не просыпаться, и я говорил себе, что нужно уезжать. Каждый день делал наши отношения все более трудными, она старалась быть участливой, даже внима-

тельной ко мне, это не получалось, но я все тянул с отъездом. Мне было жалко оставлять ее там одну, ведь, как бы то ни было, я был для нее самым близким человеком.

Только однажды проснулось тепло. Ночь была как никогда душной и напряженной. Обычно какое-то облегчение приносили короткие полуночные ливни, за ними, хоть не надолго, приходила прохлада, но сегодня дождя не было.

Я долго не мог уснуть и, как всегда, знал, что она тоже не спит.

— Не могу уснуть,—наконец сказала она.—Кажется, что в постель лезут москиты.

Я молчал.

Она притихла, но потом вдруг вскочила. Завернувшись в простыню и съежившись, встала у окна.

— Посмотри, ко мне, кажется, забрались москиты!

Мне стало жалко ее. Никогда еще я не любил ее как сейчас—одинокую, маленькую, съежившуюся.

— Успокойся, никаких москитов нет.

— Я знаю. Но как только закрою глаза, мне кажется, что они лезут.

— Ложись. Я лягу рядом с тобой, и тебе не будет так страшно.

Она лежала с закрытыми глазами. Я целовал ее в плотно сжатые губы, ее волосы пахли морем и пшеничной соломой. Когда она открыла глаза, я понял, что в мыслях она сейчас не со мной, а с тем мертвым летчиком, и целовал ее совсем не я, а он.

В эту ночь я все для себя решил. Утром пошел покупать билет. Часа два стоял у расписания самолетов, поездов и пароходов—не мог решить, куда дальше тянуть свой аргиш<sup>1</sup>. Так ничего и не решив, пошел на почтамт. И там меня ждала открытка, только не с Сахалина, а из Вильнюса—парус в штормящем море какого-то средне-

---

<sup>1</sup> А р г и ш — караван.

векового голландца: «Я улетаю на полмесяца в Москву. Квартира в твоём распоряжении. Ключ найдешь у матери».

Я тут же купил билет—специально на поезд, чтобы ехать как можно дольше, чтобы после Сочи не было сразу Вильнюса. Чтобы было время хоть немного отойти.

По-прежнему каждое утро мы шли на пляж, ночью по-прежнему каждый в своём углу подолгу не мог уснуть и знал, что другой тоже не спит, по-прежнему к рассвету налетали короткие и оглушительные ливни, но теперь у меня в кармане лежал билет на поезд, и я не мог найти удобного момента, чтобы сказать ей об этом.

Я сказал ей об этом только где-то за пару часов до поезда. Она не удивилась. Только как-то ещё больше съежилась, словно от холода.

И вот я слоняюсь в ожидании поезда на ночном сочинском вокзале. Внутри рвотная—приступами, словно куда-то проваливаюсь—пустота.

Все кончено, а что впереди?

Не поверну ли снова назад, как уже было? Чем дальше жить?

Так же приступами приходило холодное и жестокое удовлетворение: рано или поздно этот шаг все равно нужно было сделать. Жалко, что поздно. Впустую потеряю столько лет!

А может, не впустую? Теряя, мы обязательно что-то приобретаем. Может быть, вымотав душу, я обрету, наконец, твердость духа? Ведь все настоящее в искусстве делается только болью.

Или я вообще больше не смогу писать?

Все кончено. Осталось только работать. Как-нибудь перетерпеть, пересилить себя несколько месяцев, отлежаться, зализать раны. Потом работать. Наверстывать, если это можно, бесцельно улетевшее время. Работать!

Я отошел в дальний, пустынный угол перрона и, уткнувшись лицом в темноту, глухо сказал себе:

— Ну, держись! Начинается новая жизнь. Без иллюзий, без улыбок. Начинается работа.—И до тупой ломоты сжал зубы.

Время тянулось нудно. Я то и дело смотрел на часы: пока не войду в вагон, пока не тронется поезд, не смогу поверить, не смогу смириться с тем, что все кончено.

Ходил из зала в зал. Даже сквозь вокзальный шум слышал, как колотилось сердце: словно большой деревянной колотушкой монотонно стучали по большому перетянтому барабану—даже отдавалось в ушах, и кроме этого перетянутого барабана внутри ничего не было. Я чувствовал свои нервы: они были вроде толстых и жестких жил, на которых завязали узлы, и потому они стали короткими.

Наткнулся на винный киоск. Но тут же остановил себя: не разбавляй эту сволочную боль сентиментальным сиропом. Не глуши ее вином. Пусть порвет душу—зато скорее отболит. Хватит!

И снова ходил из зала в зал, пока не почувствовал, что страшно устал. Нашел пустую скамью. Рухнул на нее. И все никак не верилось, что это все.

Чем дальше жить? Хотелось броситься обратно в ночь и быть рядом с ней.

Нет!... Отлежусь—и за работу. Вода, черный хлеб и работа. Хватит болтаться по свету. Нужно, наконец, что-то сделать в жизни, чтобы обрести под ногами твердь, а потом можно снова в дорогу. А пока черный хлеб, вода и работа. Отлежусь в Вильнюсе и... и вернешься в свою чертову рекламную контору. Но как жить с ней в одном городе? Может, все-таки уехать куда-нибудь подальше? Нет, никуда ты не уедешь. Хватить болтаться. Ты вернешься в свою контору. И будешь работать. Именно туда. Это даже хорошо, что в одном городе. Она будет рядом,

и не будет этой проклятой тысячекилометровой сахалинской тоски. Только к этому времени ты должен окаменеть. К этому времени я уже окаменею. И, встретив ее, смогу спокойно кивнуть головой и пройти мимо. Даже не...

— Вот здесь и присядем.

Я поднял голову. Около скамейки напротив остановилась нагруженная чемоданами, узлами и коробками типичная курортная семья: папаша лет пятидесяти, мамаша, сын лет двадцати пяти, его жена.

...И все-таки страшно обидно впустую потерять столько времени! Неужели эта пустота никогда ничем не заполнится? Неужели я окаменею навсегда?

— Леночка, я пройду по перрону,—нерешительно сказал жене глава семейства.

Та делала вид, что не слышит его.

— Леночка, я пройду по перрону. К картине своей схожу,—повторил он заискивающе.

— Сходи, только чтобы никаких буфетов,—наконец холодно разрешила она.

— Да, что ты, Леночка! Нет. Его же закрыли. Я к своей картине схожу.

Обретя свободу, глава семейства торопливо зашаркал к выходу—почему-то горбясь, словно в спину ему презрительно смотрели, хотя вслед ему никто не смотрел.

«Папаша—любитель выпить, семейные законы диктует она, в меру умна, но зла, и муж у нее под каблуком. А зла, может, потому, что он пьет. Сын? Так себе, в мать. Из тех, что... Надо же, я еще способен что-то подмечать»,—усмехнулся про себя.

...Ничего, отойду. Буду ходить по костелам, слушать органы. Буду бродить по узеньким средневековым улочкам. Читать письма Ван-Гога. Кажется, у него так: «Через год я стану совсем другим человеком... Будущее вовсе

не рисуется мне в черном свете, но я вижу все трудности, какими оно чревато, и подчас спрашиваю себя, а не окажутся ли они сильнее меня?»

А что, если они на самом деле окажутся сильнее меня? Нет, через год я стану совсем другим человеком... На вильнюсском базаре, если нынче грибной год, наверно, полно грибов. А потом вернется из Москвы Гедиминас. Я увижу, как он работает—без выходных, без обедов, и это меня сразу отрезвит. Буду слушать органы...

«Идет,—машинально отметил я про себя, увидев главу семейства, осторожно пробирающегося между скамейками.—И чего это он так цветет? И выпрямился. Осанка прямо горделивая. Неужели все-таки где-нибудь буфет нашел?»

Но, увидев свою семью, он сник, улыбка снова стала заискивающей.

— Посмотрел,—нарочито бодро сказал он.

Никто не ответил, все смотрели в сторону.

Он сел, втянув голову в плечи. Тут же ее вытянул, неуютно встряхнулся, словно хотел взбодрить сам себя, сделал вид, что он ничего и не говорил, и с явным пренебрежением стал рассматривать пейзажи и натюрморты на стене. Через некоторое время, словно забыв, что его никто не захотел слушать, повернулся к сыну:

— Витенька, ты видел, где моя картина висит?

— Видел.

— Висит ведь, а?

— Да,—холодно ответил сын.

Глава семейства все порывался встать, но каждый раз, нарвавшись на строгий и недвусмысленный взгляд истинного главы семейства, покорно прижимал зад к скамье.

— Леночка, я схожу еще раз к ней,—наконец, все-таки решился он.—Да и покурить все равно надо, а здесь нельзя.

Жена опять долго не замечала его, потом, глядя в сторону, презрительно процедила:

— Сходи!

Он снова виновато и торопливо—как бы не вернули—засеменил к выходу.

...Лезет в голову черт знает что! Что сейчас делает она? Спокойно легла спать? Нет. По-своему мучается, что у нас ничего не получилось, ведь она тоже одинока... Буду ходить по костелам, слушать органы. Потом поеду куда-нибудь на Север, к Белому морю. Но чем дальше жить? Дальше-то как жить? Ведь нельзя жить с пустой душой.

Я прошелся по залам и опять плюхнулся на свою скамью.

Меж скамеек тем временем снова пробирался глава семейства. Он светился еще больше.

— Витенька, ты все-таки сходи, посмотри, где она висит, я только сейчас рассмотрел...

— Я видел, отец,—недовольно прервал сын.—В прошлом году,—добавил он мягче.

— Но теперь она в другом месте висит,—подкупленный этой мягкостью, обрадовался отец.—Я все смотрю, что-то не то, и только сейчас до меня дошло, что она в другом месте. Раньше она дальше в углу была. А теперь в самой середине стены, прямо напротив входа. По сравнению с другими картинами она расположена более выгодно, лучше освещена. Все-таки помнят меня здесь, помнят! Разве это не приятно?—И вдруг погрузился:—Это ведь, можно сказать, моя последняя настоящая работа... Ты посмотри, Витенька, она на самом деле в другом месте.

— Отец,—лицо сына стало злым.—Я уже видел. И в прошлом году, и в позапрошлом, и три года назад. Что от того изменилось, что она в другом месте? Делали ремонт и перевесили.

— Да сядь ты, наконец,—грубо оборвала мужа истинный глава семейства.—Все уши прожужжал со своей картиной.—Сядь! Сам, небось, около буфета отирался.

— Ну Леночка,—начал он заискивающе-укоризненно,—ты же знаешь, что я был у своей картины. А буфет закрыт. Можешь пойти проверить.

— Только не хватало, чтобы я проверяла. Ты всегда выкрутишься. А если был бы открыт, ты бы, конечно, не устоял.

— Леночка...!

— Замолчи! Навязался ты на мою голову! Сядь, тебе говорят! Хватит болтаться, людям глаза мозолить.

Он послушно сел. Глаза его стали выпуклыми и печальными, как у коровы, когда у нее отбирают новорожденного теленка. Он смотрел куда-то в угол и деланно небрежно помахивал ногой и как-то тошнотворно улыбался. Увидел, как ребенок напротив из бутылки пьет фруктовую воду, и кадык у него дернулся, а глаза сразу стали блестящими и целеустремленными. Я понял, что до этого он в буфете не был, а сейчас ему страшно захотелось выпить, и при первой же возможности он обязательно это сделает. Семья величественно молчала в окружении своих чемоданов, узлов и коробок.

Хотя он был мне неприятен, мне стало жалко его и почему-то еще больше—себя. Из-под прищуренных ресниц я неприязненно рассматривал его пышнотелую супругу. Вдруг мне захотелось увидеть эту картину. Я не ожидал увидеть ничего интересного, скорее всего какая-нибудь курортная халтура: пошлый натюрморт или сладенький пейзаж. Но мне страшно захотелось увидеть то самое, что называлось картиной, может быть, просто потому, что как-то нужно было убить время.

Найти картину не составляло труда: «в середине стены, прямо напротив входа». И вот стою перед ней: горный пейзаж, раннее утро, туман. Нет, не халтура. Пей-



заж был неплох. Это был юг, но в нем не было курортной экзотики, чувствовалась крепкая, хорошо набитая рука. Хорош был и туман. Очень хорош был туман—я даже позавидовал ему. Хороши были и горы, но чего-то не было в холсте, без чего он не жил. Сначала я не мог понять, в чем дело, но, присмотревшись, понял: кисти не хватало смелости, страсти, пейзаж был сделан талантливой и сильной рукой, но именно сделан. Без сердца. Просто за счет бывшего мастерства. Или он был болен, когда писал эту картину, или ему срочно были нужны деньги, но заработать он их хотел честным трудом.

Я посмотрел на надпись в углу. Пейзаж был двадцатилетней давности. «Л. Максимов». Фамилия эта мне ни о чем не говорила.

«Значит, ему тогда было где-то около тридцати»,—думал я, выйдя на улицу.

Сочинские домохозяйки и домохозяева с виду неохотно, но на самом деле хищно перетасовывали между собой вывалившихся из какого-то сибирского экспресса курортников.

«К тридцати годам у него уже так хорошо была набита рука, и в то же время он уже не мог писать, сгорел. Он ведь, кстати, так и сказал: «Витенька, это ведь, можно сказать, моя последняя настоящая работа». Значит, в молодости он писал еще лучше. И последняя его настоящая работа была где-то раньше. И какая у него была уверенная кисть. Даже не верится, что это его работа»,—вспомнил я главу семейства. Максимов. Постой, Максимов? Максимов? Неужели тот самый Максимов, о котором на занятиях в институте не раз рассказывал старик Бурцев: «Невероятно дерзкий был талант. Никто не знал о его существовании, торчал где-то в Поморье, потом неожиданно три выставки подряд. Суровые, мужественные вещи. Но потом женился, поселился в Мос-

кве, получил мастерскую—и куда-то пропал. Правда, появилась лет десять назад на выставке одна его работа. Совсем не то. Серо, неуверенно. Что случилось с человеком? Запомните, талант—это еще ничто. Нужно суметь его сохранить».

Неужели это тот самый Максимов? Того звали Леонид Максимов. Этот—Л. Максимов. И годы подходят. Выходит, что тот самый... Да! Если бы был жив старик Бурцев, теперь я, наверно, мог бы ему рассказать, почему погиб «невероятно дерзкий талант». Сразу не рассмотрел за красивым оперением, а у нее уже тогда были свои понятия о человеческом счастье. Некоторое время она еще мирилась со «странностями» мужа: то неделями безвыходно торчит в мастерской, то вдруг на полгода укатит на Север, оставив семье лишь на пропитанье, и она осторожно начала неоднородную и незаметную войну за свои идеалы. Сначала милые слезы, потом появились дети. Она и их превратила в своих козырей: «пожалел бы детей». Твердости ее характера можно только позавидовать, и он не заметил, когда в любимых глазах появился этот жесткий непримиримый блеск, предупреждающий, что нет, она не позволит посягательств на с таким трудом завоеванную спокойную и сытую жизнь. В нем еще жил художник, который никак не хотел мириться со случившимся, и все чаще он стал заглядывать в стакан...

Я снова все вспомнил, на меня навалилась безысходностью ночь. Я стоял не просто на сочинском вокзале, я стоял на пороге запоздалых, разрушенных иллюзий молодости и неизвестного будущего, о котором знал только одно, что это будет беспросветная работа, но неужели я тоже уже сжег душу?—и с нетерпением ждал, когда, наконец, подадут поезд.

Поезд, наконец, подали. Не оглядываясь, заскочил в вагон. К моей большой радости он оказался совсем

пустым, а ведь всего два дня назад поезда отсюда уходили переполненными.

Мимо окон торопливо прошествовала знакомая добропорядочная семья. Впереди молодая чета, нагруженная узлами и коробками, потом с двумя большими чемоданами, путаясь в них, тащился «невероятный талант» Максимов. Видимо, он все-таки где-то нашел открытый буфет, потому что с его лица сошло прежнее виновато-заискивающее выражение, он смотрел впереди себя равнодушно и отчаянно-весело. Процессию замыкала истинный глава семейства. Высоко и оскорбленно закинув голову назад, она презрительно смотрела мужу в спину и что-то зло говорила ему, отчего ее лицо потеряло последние черты привлекательности, а он шел и не слушал ее и, кажется, был доволен, что его независимое молчанье бесит ее еще больше. Завтра, а может быть, уже и сегодня он горько пожалеет об этом, но сейчас он отчаянно улыбался, словно ему было приятно—для какого-то маленького тщеславного самоутверждения—видеть свою жену такой, очень непривлекательной со стороны и злой.

Так вот я очень обрадовался: в мой вагон вошли только две тихие и неловкие пожилые женщины—скорее всего, колхозницы, которые спрятались где-то в другом конце вагона, и мужчина в сером пальто и в такой же серой шляпе, скорее всего, не отпускник, а командированный. И когда уже объявили отправление, под ругань проводницы ввалился еще один—подпитой и помятый, как я мысленно его окрестил: работяга—с деревянным сундучком и двумя большими ободранными мешками, в каких возят муку. Один из мешков весь состоял из острых углов, которые за все задевали, и когда он тащил его по проходу, в нем что-то гремело, скорее всего жестяной чайник.

Было слышно, как проводница хлопнула подножкой.

Сейчас поезд тронется, и все кончится—здоровствуй, жизнь без иллюзий. Еще можно выпрыгнуть. Я лежал, одетый, вверх лицом на холодной полке и вслушивался в звуки за окном.

Вагон дернулся. В такие минуты приятно смотреть в окно—в огни уплывающего в прошлое города. Не только приятно—страшно хочется. Нет, не стану. К черту!—только лишний раз бередить сердце. Нет, не оглянусь на этот проклятый город.

«Работяга» с шумом протащил свой скарб по вагону и остановился не ближе, не дальше, а именно около того купе, в котором спрятался мужчина в сером пальто. С грохотом обрушил мешок с чайником на верхнюю полку, сам сел на нижнюю и стал громко материть какого-то Пашку, который должен был принести долг к поезду, но не принес, и он из-за этого чуть не отстал.

«Вот хорошее музыкальное сопровождение твоему прощанию,—усмехнулся я.—Не сентиментальные слезы, а грубый, тяжелый мат».

Заклеймив Пашку десятиэтажным позором, «работяга» попробовал затолкать в ящик под сиденьем сундучок, но сундучок туда не входил, тогда он его тоже грохнул на верхнюю полку. Туда же швырнул второй мешок, им, видимо, толкнул первый, потому что тот свалился на пол и развязался. Что-то с веселым звоном покатилося по вагону—все ближе и ближе— и остановилось где-то рядом со мной. Я спустил ноги с полки и сел. Я был прав в давешней догадке: это была крышка от зеленого жестяного чайника.

Страшно довольный своей догадливостью, я снова лег. Через некоторое время послышались шаги. Это был «работяга». Он сверху посмотрел на меня, забрал крышку и, вернувшись назад, снова принялся материть Пашку, который так нагло надул его.

— Может быть, можно потише или перейдете на дру-

гое место, вагон-то пустой,—не выдержал мужчина, который раньше был в сером пальто, а теперь, видимо, лежал под одеялом.

Но оборот дела был неожиданный.

— Ты, шляпа! Пашка, сука, надул меня. Теперь ты. Шляпу напялил, так на рабочего человека орать можно... А у меня билет на это место. Не нравится, сам катись на другое.

Я слышал все это словно сквозь какую-то пелену. Поезд тронулся. Фонари на перроне желтыми тоскливыми лунами влезали в окно. Все чаще. Я не выдержал, отвернулся к стене.

— Не рабочий ты, а алкаш,—дрогнувшим голосом огрызнулся мужчина, который раньше был в сером пальто и шляпе.

— Поговори ты у меня, поговори...

«Вот сволочь,—подумал я.—Хорошее прощание!»

Но мужества обладателя серого пальто хватило ненадолго, тем более что вагон был почти пустой, и он,—стараясь как можно спокойнее, но получился у него срывающийся визг,—закричал:

— Проводник, что у вас за безобразие!? Возите всяких уголовников.

«Ну, это он зря, про уголовников-то—все больше вслушивался я в перебранку.—И при чем тут проводница? Что она может сделать с ним, восемнадцатилетняя девочка? Я слышал, как она ругалась с ним еще при посадке».

И точно, «работяга» рассвирепел:

— Ах ты, сука, мать твою... Я тебе покажу уголовника! Чистоплюй! Затолкаю мордой в угольный ящик. Если без шляпы, так уголовник. Жалко, не слышит тебя настоящий уркан, он тебя бы сразу под колеса спустил.

— Проводник!!

— Да что я с ним сделаю?!—чуть не плача, пробежа-

ла мимо меня проводница, скорее всего студентка, решившая летом подработать и уже не раз пожалевшая об этом.—А ну перестаньте!—попыталась она перекричать «работягу».—А то милицию позову.

— Катись ты! — бросил тот, и она, заплавав, поплелась обратно.

Мне надоело все это. Я хищно спрыгнул с полки, толкал ноги в туфли, не зашнуровывая их, вышел в проход. Но тут же вернулся, тщательно зашнуровал их и засучил рукава рубахи: вдруг придется драться. Очень не хотелось, а вдруг придется.

— Может, заткнешься?—спросил я глухо. Почему-то никакого зла на него уже не было. Было одно лишь отчаяние: я снова все вспомнил.

— Чего?—вскинулся он было, но, повернувшись ко мне, почему-то передумал.

— Или ты заткнешься или я вышвырну тебя из вагона,—сказал я и, не дожидаясь ответа, вернулся к себе.

— Видали мы таких!—донеслось мне вслед, но он все-таки заткнулся.

Лежать на голой холодной полке надоело, я сел к столу, за окном качалась тьма. Только теперь, в пустом вагоне, подступила настоящая боль. Я готов был молотить кулаками вагонные окна, проклятые зеркала: казалось, что в потерянной любви был единственный смысл жизни, и в то же время было жалко эти два бесполезно пролетевшие года.

Ну и что, старался я убедить себя, в мире сотни, тысячи других женщин, сотни других городов, неужели нельзя прожить без нее? Конечно, можно.

Но ведь пробовал же ты жить в других городах, пробовал любить других женщин, что из этого получилось?

На ум пришел не очень, может, умный афоризм: «Три преграды стоят на пути художника—слава, деньги

и женщины». И горько усмехнулся: слава пока меня не баловала, с деньгами тем более все было в порядке, а вот на женщине я, кажется, свихнулся. Глупый афоризм, но никуда не денешься, справедливый. Надо спать, иначе сойдешь с ума.

Сходил к проводнице за постелью, стал стелить. Услышал за спиной шаги. Оглянулся: это был «работяга».

— Прикурить не найдется?—спросил он примирительно.

— Не курю.

— Да ты не серчай, парень. Спьяна я на эту сволочь попер. Пашка, сука, подвел меня. Из-за него это. Считаю, лучшим другом был—и тот надул, вот и выпил я, а тут этот: «Уголовник. Куда милиция смотрит?» Ну, нашумел я, сказал бы: «Успокойся!» или «Заткнись!»—как ты, коротко и ясно, а то: «Уголовник, милиция». Уж больно это меня задело. Ну давай, закурим.

— Не курю я.

— Ну ладно, не куришь, так не куришь.

Но он не уходил. Присел на краешек скамьи, крутил в руках папиросу. Спросил:

— Ты геолог?

— Геолог,—ответил я, чтобы он поскорее отвязался.

— Я так и подумал,—обрадовался он.—По бороде узнал. Я ведь, можно сказать, сам геолог. Двадцать лет в геологических партиях оттрубил. Взрывник я. В Кулунде, в Забайкалье, в Минусинском крае работал. Э, все не перечислишь. Я сразу так и подумал: геолог, свой брат. Слушай, можно я к тебе переберусь? Вместе веселее будет.

«Только еще этого не хватало?»—уныло подумал я.

—А то как бы с той шляпой у меня чего не получилось?

«А ладно, черт с ним, может быть, действительно, здесь хоть утихомирится».

— Перебирайся, только чтобы не шуметь!

— Само собой.

Он снова с грохотом перетаскивал свой скarb, к горлу густой волной подкатилась тоска, потом была какая-то станция, вагон наполнился шумом, «можно сказать, свой брат, геолог» переругивался с человеком, место которого он занял, но все это я слышал уже сквозь сон.

Утром проснулся поздно, на нижней полке лежала какая-то бабка, за окном мелькали белые хаты Кубани, вагон был набит битком, «можно сказать, свой брат, геолог» спал. Я умылся, пошел завтракать. Когда вернулся, он, потеснив бабку, сидел за столиком, на газете перед ним лежали купленные, видимо, на только что пролетевшей мимо окон станции булки, яйца, арбуз, бутылка какого-то дешевого портвейна—«чернил», как определил я про себя.

— Садись, перекусим.

— Я уже позавтракал.

— В ресторане, что ли?

— Да.

— Ну, как знаешь... Может, тогда выпьешь?

— Нет, с утра не хочу.

— В отпуске? Промерзшие в Сибири кости в Сочи греть ездил?

— В отпуске.

— Да, невеселая ваша жизнь, сам намотался, знаю. А где работаешь-то?

«Черт побери, соврал, чтобы отвязался, теперь придется врать дальше».

— На Сахалине.

«Да работал же я там на самом деле».

— После института?

— Да.

— Инженер, значит? Ну это лучше. А я все разнорабочим да взрывником. Пятнадцать лет. Намерзся до ужас-



ти. Два года вот в Сочи на стройке работал—плотником. Но, скажу тебе, Сочи тоже не сахар. Сначала вроде хорошо, пока теплу радовался: грей пузо, сколько хочешь. А потом—нет. В общежитии-то под старость лет и в Со-  
чах не сладко... А теперь вот в другое место.

— И куда?

— Да так, в одно место,—замаялся он. Выпил с пол-  
стакана «чернил», после них на стекле остались густые  
фиолетовые потеки, закусил арбузом.—Одним словом,  
по адресу еду.

Бабка перестала дремать, заинтересованно прислу-  
шалась.

— Как по адресу?—не понял я.

— А вот так—по адресу. Досыта натаскался по свету,  
надоело. Может быть, хоть на старости-то лет угол бу-  
дет,—зло сказал он.—А может, и нет. Может, пустое  
это.— Он выпил снова и усмехнулся:—Что, осуждаешь,  
такой, мол, здоровый мужик и—по адресу?

— Да нет,—неопределенно ответил я. Я все еще ни-  
чего не понимал.

«Можно сказать, свой брат, геолог» сгрудил в газету  
арбузные корки, взял папиросы, пустую бутылку из-под  
«чернил» и вышел в тамбур.

— Ну, видимо, хватил лиха или ветрогон, раз по адре-  
су едет,—вдохнула бабка. В отличие от меня, выраже-  
ние «ехать по адресу» ей было понятно. Видимо, оно  
относилось к разряду какой-то житейской терминологии.  
Отсюда я сделал вывод, что пока таинственная для меня  
поездка «по адресу» «можно сказать, своего брата, гео-  
лога» была в мировой практике случаем далеко не един-  
ственным.

— И она, видать,хватила лиха,—продолжала взды-  
хать бабка.—Только, не знай, радости-то много ли от  
него будет. Видать, что давно отбился от рук. Да и пьет.

Я хотел спросить бабу, что значит «ехать по адресу», но не успел, он вернулся. Сел рядом со мной.

— Вот так—еду по адресу.

Полез в карман, достал потрепанный до неузнаваемости бумажник, долго перебирал в нем такие же потрепанные документы: паспорт, военный билет, какие-то справки и подал мне неровно вырванный из школьной тетради листок. Я развернул его:

«Маша, выходи за него замуж. Мужик вроде ничего. Хороший плотник. Шура.»

— Это ее сестра написала,—пояснил он.—В Сочи она у нас в рабочей столовой официанткой. «Хватит,—говорит,—тебе мотаться по свету. Старый ведь уже. Ну еще лет пять помыкаешься, там все равно какой-нибудь угол подыскивать придется. И ей трудно одной, двое детей, хозяйство. Крышу перекрыть надо». Вот и еду. Муж у нее два года назад помер. Инвалид войны. Как привезли в сорок пятом из госпиталя—еще мальчишкой, так до последних лет — то на костылях, то лежа лежал.

— Да ты видел ее хоть раз?—не выдержал я.

— Откуда?—удивился он.

— Ну, может быть, переписывался?

— Нет. Какой там. Сестра после разговора со мной ей письмо написала, та ответила: «Пусть приезжает». Перед отъездом дал телеграмму: буду тогда-то и таким-то поездом. Вот и все.

В Краснодаре я выбежал к киоску «Союзпечати», купил открытку с конвертом. На поворотах вагон поматывало, и писать было трудно:

«Страшное чувство, что больше нечем жить. Пустота. Неужели она никогда не пройдет? Без тебя все теряет смысл, даже работа. А это единственное, что у меня осталось. Неужели во мне все умерло? Прощай!»

В Харькове стоянка была долгой. Я написал на конверте: «Сочи, до востребования» и встал. «Можно сказать,

свой брат, геолог»—до сих пор я не знал, как его зовут,—не спал.

— Я пройду с тобой?

— Давай.

Харьковский вокзал был переполнен. Он глухо и неуютно гудел, шевелился, словно огромная отара овец.

Я прокладывал путь среди узлов и чемоданов к почтовому ящику. «Можно сказать, свой брат, геолог» молча плелся сзади. Неожиданно спросил:

— А как, нужны у вас в экспедиции люди?

Я оглянулся на него и вздохнул.

— Когда уезжал, нужны были, только, правда, не взрывники, а сейчас не знаю. В общем-то в любой экспедиции почти всегда нужны люди. Текучесть кадров большая. Сам ведь знаешь.

— Знаю.

Объявили отправление нашего поезда, мы заторопились к вагону.

— Да, а как ты в Сочи-то оказался?—спросил я, вычитывая в уме, когда она получит открытку.—Тоже на тепло потянуло?

— На его самое. Надоели мне эти экспедиции. Посуди сам—с двадцати лет я в них. Отец в войну без вести пропал, мать погибла при бомбежке. Детдом в Сибири. Ремеслуха... Завод... Потом пристроился разнорабочим в геологическую партию. А потом подряд пошли эти вербовки. Закрылась одна экспедиция, ехать некуда, никто нигде не ждет, пропылишь деньги до рубля с какими-нибудь случайными дружками, такими же прощелыгами, и скорее наниматься в новую экспедицию. Все собирался немного денег скопить, получал-то неплохо, особенно когда работал на Чукотке. Но разве скопишь? Так и оттрубил незаметно двадцать лет. Пока молод был, духарился. Потом на тепло потянуло... Да, может, и еще бы работал, если бы Леньку Сивцова, дружка моего лучше-

го, не убило. В Саянах мы тогда работали. Деревня неподалеку была. За продуктами иногда туда ходили, а то и на самогонку по воскресеньям от скуки. Продадут самогонки, а ворота скорее на запор. Вообще-то в Сибири народ приветливый, а это была дрянная деревня. Кулачье. Побавались нас, да и как не бояться, всякие ведь в экспедициях-то работают, самый что ни на есть бесшабашный народ. Бывших зэков много.

Ну, а эта деревня все равно дрянная была. Иногда возьмет зло, напьемся и горланить по улице. Все ворота на запорах, на улице ни души, лишь собаки хрипят на цепях. А мы орем, обидно, словно мы не люди. Ну и те, из зэков, разве не люди? Одним словом, не долюбляли нас.

Ленька моложе меня был на целую десятку. Тоже из детдома. И вот зачастил он в эту проклятую деревню. Приглянулась ему там продавщица. Как-то я прижал его к стене:

— Ты чего, Ленька?

А он:

— Ей богу,—говорит,—осяду, женюсь. Хватит болтаться, ну к черту! Она согласна, только вот отца боится.

— Да что ты, с ума сошел?—понес я на него.—Как ты здесь будешь жить? Все они тут, как волки. Посмотри на отца—чистый бандит. Картуз казацкий, зарос бородищей до глаз.

— Не с ним же жить.

— В том то и дело, что с ним. Забирай ее с собой и подавайся в какой-нибудь город.

— Не хочет она в чужой город. Говорит, увезешь да бросишь.

Идем как-то по улице, а отец ее навстречу. Сверлит нас глазами.

Поздоровались, не ответил, словно и нет нас. Но потом окликнул:

— Это ты, што ль, ко мне в зятя метишь?

Смутился Ленька, хоть и смелый был парень.

— Ты у меня девку с ума не сбивай... В зятя! Откуда ты такой взялся? На готовенькое, значит? Ты мне девку не сбивай с толку, а то башку сверну.

И пошел дальше.

Сели мы с Ленькой на бревно, скис он совсем.

— Ну что, выкусил?—говорю я ему.—Бандит!

А тот тем временем обратно идет. Остановился около нас.

— Тоже мне жених, с отцом надо говорить, а не с девкой, если всерьез собрался. Ворота, чай, знаешь мои... Разговор у меня к тебе есть. Пошли, коли время есть.

Мы с Ленькой удивленно переглянулись, встали.

Ну, пошли мы за ним. Он впереди, мы следом. Ничего не можем понять. То прибить грозил, то вдруг в гости. А дом у него самый крайний в деревне, даже на отшибе, словно хутор. Не дом, а крепость. Зашли. Баба его молча самогонки поставила, картошки, сала. Маруська эта, продавщица, выбежала, покраснелась. Отец цыкнул на нее, ушла. Думаем, про женитьбу сейчас что-нибудь начнет. Наверно, Маруська все рассказала. А он нет, наливает еще по одной. Да все о погоде, о заработках в экспедиции. Потом говорит Леньке:

— Видел, вон ручей у нас за огородом?

— Видел.

— Воду далеко таскать твоей Маруське. Вот если взорвать камень на повороте, ручей по этому распадку прямо под окна и пошел бы.

Ленька загорелся:

— Это можно.

— В следующий раз,—уточнил я.

— А что в следующий, можно и сейчас,—говорит Ленька,—это мигом.

— Брось!—говорю.—Под мухой это не дело. В следующее воскресенье специально придем.

— Ну ладно,—говорит отец,—в следующий раз, так в следующий. А то я хотел вашего Пахомова позвать.— И снова наливает.

— А зачем же Пахомова, сделаю я,—не терпится Леньке, и шепчет мне:

— Ты посиди пока, я отлучусь.

— Ты куда это? Брось!

— Да нет. Так, во двор. Маруська там, отвлеки папашу.

— Ладно.

А папаша наливает еще по одной. Закосел я. Разговорились мы с ним, словно родственники. А уж времени не замечаю, сколько прошло. Вдруг слышу: взрыв. У меня аж вилка с салом из рук вывалилась.

— Что это?—спрашиваю, хотя уже почти догадываюсь, и нехорошо мне становится.

— А это, наверно, дружок твой камень взорвал,—щерится сквозь бороду папаша.

— А где он взрывчатку-то взял, шнур?—завелся я.

— А он лошадь у меня брал. Верхом ездил. Молод еще, горяч. Не терпится до следующего воскресенья. Счас придет.

Но Ленька не шел. Я стал беспокоиться.

Но папаша успокаивает меня:

— Давай еще по одной. Счас придет.

Выпили еще по одной. Леньки все не было. Папаша сам стал беспокоиться. Крикнул Маруську.

Но я уже вылез из-за стола. Плохо мне почему-то стало. Вскочил на улицу и побег вверх по ручью. Ленька навстречу не шел. Тогда мне все стало понятно. Я остановился и пошел медленно...Ленька лежал в самом ручье,

который теперь шел по этому проклятому распадку. Вместо головы черт знает что.

До сих пор не могу понять, как это он. Выпивши, конечно, но он ведь хороший взрывник был.

Бегу обратно, злость душит, а ворота на замке. Колочу, колочу—молчат, словно вымер дом. Лишь пес надрывается. Снова колочу. Открывает папаша. Рожа красная, злой:

— Из-за вас, сволочей, под суд попадешь!

За ним двое сыновей с такими же красными рожами:

— Проваливай! Откуда? Кто такой? Ты у нас не был? И мы ничего не видели. Шляются тут алкоголики всякие...

Хотел я тогда этот дом подорвать. Ребята не дали. Так вот и пропал парень. Маруську я больше не видел. Из магазина уволилась. Видимо, отец под замок посадил.

Потом за два года я пять экспедиций сменил. Опротивело мне все из-за Ленки. И вот как-то увидел объявление о наборе рабочих на стройку в Сочи — поехал. Хватит, думаю, с меня этой проклятой вечной мерзлоты. Два года в Сочи проработал, жил в общежитии, но не лежит душа, живешь в этих Сочах, как на вокзале: люди постоянно приезжают, уезжают, круглыми сутками полуголыми толкуются на улицах. Сошелся я с одной женщиной, но скоро она спуталась с другим. Пришел как-то с работы, а сундучок мой у крыльца стоит. Опять в общежитие. Вот теперь еду, не знаю, что из этого получится. Я ведь никогда хозяйством, семьей не жил. Прощелыга. А у нее двое детей, дом, сад. Отец у нее еще в силе. Он еще как на это посмотрит.

А я думал о своем. О своей бестолковой любви и невольно сравнивал. Оказывается, и вот так бывает в жизни. Может, такова участь всех бродяг? Намотаться по свету, насмотреться на всякие чудеса и на человеческую смерть, а потом, под старость,—с ревматизмом, с переломанными ребрами и душой—сунуть голову в первый

попавшийся подол, словно в омут, лишь бы избавиться от одиночества.

А может быть, оно так и лучше, когда людей связывают не иллюзии, а горькая жизненная необходимость? Может быть, это даже больше, чем любовь? Ему некуда деться, у него ни разу в жизни не было дома—бараки, общежития, палатки, землянки,—а ей в хозяйстве, чтобы поставить на ноги двоих, оставшихся от мужа, инвалида войны, ребятишек, нужен мужик. В отличие от нас, молодых, они хорошо знают, что хотят друг от друга.

— Слушай,—осторожно тронул он меня за плечо.— Ты не спишь?

— Нет.

— Станция-то моя под утро будет. Ты поможешь мне вещички вынести?

— Помогу. Только разбуди.

«Самое страшное, что сейчас я люблю тебя еще больше. Странная все-таки штука эта маленькая жизнь. В мире тысячи, сотни тысяч других женщин, а я люблю только ее, и из-за этого у меня летит в трубу жизнь. А она любит другого, который к ней никогда не придет, потому что однажды не вернулся из патрульного полета,—и из-за этого у нее жизнь тоже летит в трубу. Денег, что я спустил здесь, мне хватило бы на полтора-два года работы, если бы сесть на хлеб и воду. Вернуться на Сахалин? В этот тоскливый барак? Нет, куда-нибудь в другое место».

— Ты уснул?—это опять был он.

— Нет.

— Слушай, ты адрес свой мне не дашь? Экспедиционный?

— Зачем?

— Ну, если что, я к тебе в экспедицию. Ты не бойся, что я пьющий. Я работать могу. Взрывник я, что надо.

— Да я тебе уже говорил, что у нас в экспедиции во-



обще нет работы для взрывника,—раздраженно ответил я.

— Ну, плотником. В Сочи на стройке я ведь плотником работал. А если нельзя плотником, на первое время можно и разнорабочим.

— Да брось ты! Еще не приехал, а уже паникуешь.

— Нет, ты все-таки дай. Если что, я прямо к тебе.

«Если бы он у меня был, адрес-то. Наврал, чтобы отвязался, теперь выкручивайся.—За окном снова поплыли желтые фонари.—Дам адрес Семенова. Может быть, на самом деле в партии нужны люди».

Я вырвал из записной книжки листок:

«Алексей Ильич!

Устройте, по возможности, этого мужика. Жизнь у него хреново сложилась. Сам расскажет. Двадцать лет по экспедициям. Хороший взрывник и плотник. Устройте! Ведь для меня бы нашли место? Так вот, пока вместо меня. Спасибо за все!»

— Ладно, пиши: «Оха на Сахалине, поселок Новые Лангры, Семенову»

— Значит, ты Семенов?

— Нет, это фамилия начальника партии, Потому что я туда еще не скоро попаду. Если поедешь, передашь от меня ему вот эту записку. Он тебя устроит.

— Точно?

— Точно.

— Вот большое спасибо! Если что, я мешок за плечи и к тебе. От станции там недалеко. А что, если ей только крышу перекрыть надо, дом поправить, а потом покажет на дверь? Ты уж не бросай меня.

— Не мели ерунду! Сам ведь говорил, что серьезная женщина, двое детей. Не до шуток.

— И то правда.

Но чем ближе подъезжали к Бахмачу, тем больше он суетился, все чаще выходил курить.

— А то, может быть, мне не сходить, а? Возьми меня сразу?

— Да куда я тебя возьму?—не выдержал я.—Куда?

— А то давай выпьем—и мимо. На твой Сахалин, а?

— Брось! Приедешь, а от тебя сивухой прет. Нехорошо получится.

— Да нет, не буду я. Это я к тому, если мимо... Ну скажи, кому я такой нужен? Потрепанный. Бродяга. Я ведь семьей, хозяйством жить не могу. Да и пью. Хорошо, если она баба крепкая. А то пушу все ее добро по ветру, пропью.

— Ну, как знаешь,—отвернулся я.—Дело твое.

В это время поезд гулко застучал по мосту, телом я почувствовал, как вагоны нависли над темной пустотой, и внутри—уж в который раз—я ощутил такую же тошнотворную пустоту. И зачем-то, совсем некстати, вспомнился художник-неудачник Максимов на сочинском вокзале, большой талант, который стал комнатной болонкой. Мне стало холодно, я плотнее закутался в одеяло. Но тут же повернулся и, перевалившись через край, сказал:

— Будет Бахмач, разбуди.

«Почему такое чувство, что больше нечем жить? Почему? Ведь даже хорошо, что так получилось. Ведь любовь к тебе только мешала работать. И теперь нет этой преграды. Конечно, бывает, что любовь помогает, поднимает человека, но ведь это бывает очень редко. Слишком редко, чтобы в это можно было верить. Тогда почему такое чувство, что больше нечем жить?..»

...Я проснулся от звона чайника. Еще не открыв глаза, догадался, что «можно сказать, свой брат, геолог» собирается в дорогу. Видимо, скоро Бахмач.

Я приподнялся на локтях: он осторожно, чтобы не шуметь, уходил с мешком по проходу. Сундучка уже не было, на скамье лежал последний мешок.

Я быстро оделся.

— Что же ты не разбудил?—спросил, когда он вернулся за мешком.

— Смотрю, крепко спишь. Думаю, что будить человека среди ночи. Пусть спит.—Было видно, что он не рад, что я проснулся.

Мы вышли в тамбур.

Поезд стал притормаживать. В тамбур вышла проводница.

— А что, если она не встретит?—снова повернулся он ко мне.

Я промолчал.

Поезд остановился, словно споткнулся, закрипел. Снова тронулся и уже совсем остановился. Проводница открыла дверь и подняла подножку. «Можно сказать, свой брат, геолог» смотрел через ее плечо на привокзальную площадь и не решался сходить.

— Ну что же вы, Бахмач!—сказала неприязненно проводница. Она еще не забыла, как он сутки назад появился в ее вагоне.

— А вдруг не встретит?—снова спросил он меня.— Ну, если что, я к тебе.

— Ладно.

Я взял в одну руку его сундучок, в другую мешок и спустился на перрон. Ему ничего не оставалось делать, как спуститься за мной.

У соседнего вагона шумно встречались: обнимались, целовались. Потом, подхватив чемоданы, все заторопились к вокзалу. К нам никто не подходил. «Можно сказать, свой брат, геолог» стоял, сгорбившись, у своего сундучка и все чаще оглядывался на дверь вагона: не залезть ли обратно?

От поезда уходили последние пассажиры. Лишь у здания вокзала, плохо видимая в тусклом свете фонаря, стояла какая-то женщина, держала за руки мальчика лет семи. Мне показалось, что она смотрит в нашу сторону.

«Неужели все-таки приехала?»—подумал я и оглянулся на своего спутника. Он тоже смотрел на нее.

Поезд заскрипел.

— Ну ладно, всего хорошего тебе!—поймал я его за руку и вскочил на подножку.

Он ничего не ответил. Скорее всего он даже не слышал, что я сказал. Неловко горбился у своих мешков.

Перрон опустел совсем. Но женщина не уходила.

Поезд тронулся. Проводница оттиснула меня от двери и захлопнула ее. Я бросился в вагон и прижался к окну: они все так еще издали рассматривали друг друга.

Убедившись, что с этого поезда ждать больше некого, женщина отделилась от стены и пошла ему навстречу. Между ними, видимо, состоялся какой-то разговор, потому что она наклонилась, привычным движением—по-крестьянски—забросила за спину мешок, другой взяла за руку мальчика.

«Можно сказать, свой брат, геолог» забросил за спину мешок, взял сундучок, они пошли к вокзалу и вместе с ним уплывали от меня в ночь.

# Побег

---

Из гастролирующего зоопарка убежал волк. С большим трудом он был водворен на место.

(Из газет).

...Ему снилось детство: осиновый распадок, студёный ручей гремел по камням, по упавшим стволам умерших деревьев, нес прошлогодние листья. Тогда он ещё не знал, что листья падают с деревьев, он пробовал ловить их лапой и однажды, сорвавшись с камня, крепко искупался в ледяной воде.

Где-то ниже по распадку ручей страшно гудел, как потом он узнал, там весенний поток падал с обрыва в большую реку. За рекой было большое поле, за полем—деревня, в ней кричали гуси, мычали коровы, а по вечерам зажигались звезды и лаяли собаки.

Около родительского логова—под полусваленной березой, была небольшая полянка, на которой он играл со своими братишками и сестренками. Ворковали где-то

горлицы, тетерева. По склону в прошлогодней жухлой траве синели мягкие бутоны сон-травы. Он совался в них носом, отчего нос от пыльцы становился желтым и хотелось чихать...

Стукнула дверь. Трехпалый,—звали его так потому, что на левой задней ноге у него было только три пальца: еще будучи волком-одногодком он попал в капкан, сумел вырваться из него, но без двух пальцев, и когда через много лет его везли связанным в город, это заметил один из сопровождающих его охотников, и в регистрационной книге так и записали: «Трехпалый»,—так вот Трехпалый проснулся еще задолго до прихода служителей зоопарка и с отвратительным настроением, потому что очень не любил сны про детство. Они снова заставляли все вспоминать. Трехпалый делал вид, что спит, потому что еще издавна по шагам узнал Плюгавого, которого ненавидел больше других. Трехпалый приоткрыл один глаз: тот начал обход со слона. С Плюгавым у Трехпалого были старые счеты, и сейчас, конечно же, воспользовавшись тем, что рядом из служителей никого больше нет, Плюгавый постарается с десятков раз больно ударить его лопатой.

...С Плюгавым—так звали его друзья-собутельники—он познакомился в первый же день, как попал в зоопарк: от того пахло какой-то дрянью, как потом узнал Трехпалый, люди ласково называли эту дрянь вином, вялой гуттаперчевой походкой он равнодушно обходил зверей, глаза были мутными, но они обрели какой-то смысл, даже загорелись, когда он увидел Трехпалого.

— А, зверюга, попался! Новый квартирант вместо подохшего. Ишь, рычит. Порычи, порычи у меня. Я тебе пор-р-рычу,—он больно саданул Трехпалого лопатой.—И ты подохнешь. Думаешь, считаться тут с тобой будут? Ни хрена. Дешевле нового купить. Ишь, глаза-то сверкают, как у нашего участкового. Зве-р-рю-га!—Плюга-

вый почему-то сразу, с первого взгляда, проникся к Трехпалому лютой ненавистью, словно он, этот волк, был виноват в том, что вчера по пьянке его кто-то крепко отхлестал по роже, а сегодня ему не на что опохмелиться.—Вот сейчас я тебе лопатой! Сука! Чего? Рычишь? Я тебе сейчас порычу.—И он жестоко—пока не устал—избил Трехпалого.

С тех пор он почти каждый день избивал Трехпалого. С похмелья, потому что болела голова—и после этого ему вроде бы становилось легче. Не с похмелья, потому что не болела голова—и на ком-то надо было сорвать зло, что вчера не удалось выпить.

Однажды, где-то года полтора назад, Трехпалый отомстил Плюгавому. Тот, еще не проспавшийся с очередного похмелья, вяло тыкал его лопатой, а Трехпалый, неожиданно для себя приняв решение, прикинулся, что спит.

— Ах ты, сука, не хочешь знаться,—рассвирепел Плюгавый. Он подошел к клетке еще ближе и больно ударил Трехпалого по спине, но Трехпалый по-прежнему делал вид, что спит. Тогда Плюгавый, потеряв всякую осторожность, просунул обе руки сквозь решетку, навалился на нее грудью и стал шуровать там лопатой, словно в паровозной топке. И вот тут-то Трехпалый, впервые за многие месяцы неволи, почувствовал все свои мышцы. Точительно и осторожно, не обращая внимания на боль, он проверил каждую из них, потом стремительным прыжком бросился вперед и сомкнул челюсти на локте Плюгавого. Укус оказался несильным, потому что Плюгавый был в телогрейке, но Трехпалый держал его так, прижав к клетке, минут пять, пока не сбежались другие служители; все это время Плюгавый дико орал, визжал, и по зловонному запаху, все больше распространяющемуся вокруг, можно было понять, что он не только обмочился.

В тот день служители избили Трехпалого сообща, после чего Плюгавого не было дней десять, эти дни Трехпалый вспоминает с благодарностью, а потом все пошло по-старому, даже хуже. Утром, прежде чем приступить к работе, Плюгавый шел к клетке Трехпалого.

— А, сука, не подох еще? Ну, погоди, подохнешь. Я помогу...—и за этим следовали озлобленные тычки лопатой.

Со временем Плюгавый опять потерял чувство осторожности, особенно это случалось после запоев, и Трехпалому уже несколько раз выпадали случаи окончательно расправиться с ним, но он больше не предпринимал таких попыток, не потому, что тем жестоким избиением ему отбили охоту отомстить, а потому, что у него на Плюгавого появились кое-какие виды, а именно: бежать при помощи Плюгавого. Притупить его бдительность. Казаться совсем забитым, смирившимся. И, воспользовавшись его пьяным ротозейством, бежать...

Плюгавый продолжал обход. Бессильно изгибала спину рысь, шипела, напрасно забивалась в углы, лопата везде доставала ее. Разумеется, льва и тигра Плюгавый не трогал. Только иногда, в приступе повышенной озлобленности, швырял издалека в их сторону первым попавшимся предметом. Плюгавого уже несколько раз собирались уволить за жестокое обращение с животными, но из-за нехватки кадров не увольняли. Почему-то люди с большой неохотой шли работать в гастролирующий зоопарк, а если приходили, то быстро увольнялись. Плюгавый трехэтажно обматерил ишака, направился к белому медведю.

...Попал Трехпалый в гастролирующий зоопарк очень глупо. До этого он выходил живым из самых невероятных передраг: может быть, потому что был умнее, осторожнее и в то же время смелее других волков, может быть потому, что больше других хотел жить. Он не был



очень стар, но знал, как нужно уходить от наводящих на других волков ужас красных флажков. Несмотря на все уловки охотников, он знал, как обходить капканы. Знал, как уходить оврагами от вертолетов и самолетов.

Сколько волчьих стай погибло от этих железных палок, из которых вылетают молния и гром! А он уходил.

С каждым годом уходить было все труднее. Он сохранил свою последнюю стаю, когда со всех других в округе уже давно содрали шкуры. Сохранил, потому что не пускал стаю на фермы и скотные дворы, как она ни рвалась туда. Это было трудно, но он заставлял ее охотиться на ставшую редкой в тех местах дичь, не брезговал и падалью.

Но однажды не удержал. Стая, озверев от голода, вырвалась из-под его подчинения и напала на одиноко бредущую в поле лошадь с пьяным мужиком в санях. Трехпалый пытался остановить стаю, но в память об этом остались две отметины на шкуре, стая восстала против него, минут через десять от лошади осталась лишь куча дымящихся костей, мужик продолжал храпеть в санях.

Трехпалый знал, что нужно как можно быстрее и дальше уводить стаю из этих мест, но непоправимое уже невозможно было поправить: на ноги были подняты все охотники района. Два раза он выводил стаю из красных флажков, но при переходе из местных, небольших, а потому очень опасных лесов в глухие леса хребта Каратау над стаей внезапно навис самолет, и лишь он один, два раза прикинувшись убитым в самых неудобных для посадки самолета местах, ушел в лес.

Целый год он одиноко и осторожно бродил по лесам. За год он обошел огромную территорию и не встретил ни одного волка, ни одного волчьего следа. Он был единственным, а потому еще более желанным для охотников трофеем в округе. А может быть, на всей планете?

У него теперь была одна цель—уйти от этих мест как

можно дальше на север, в леса, совсем не населенные людьми: у него еще хватит сил в одиночку добывать дичь, а потому за ним никто не будет охотиться.

Он попался очень глупо—по пути на безлюдный север. Шел осторожно, в конце зимы проходил стороной последнее человеческое жилье, четыре небольших деревеньки. И вдруг в одну из ночей услышал одинокий волчий вой. Оказывается, на планете был еще один волк. Выла волчица.

Вой был тоскливым, зовущим продолжить жизнь, и никто на него не откликался. Трехпалый чувствовал беспокойство, хотя торопился как можно скорее уйти от последнего человеческого жилья. Прошел километров десять и снова залег, а вечером неожиданно для себя вернулся: он решил, если сегодня никто не откликнется, увести ее, последнюю волчицу на земле, с собой.

Боялся, что больше не услышит. Но вой раздался снова, одинокий и зовущий. Трехпалый очень давно не видел ни одного волка, если бы не этот вой, он считал бы себя последним волком на планете. Внутри все поднималось ответить, но он сдержался. Огромными, осторожными прыжками приближался.

Настороженно останавливался. На загравке поднималась шерсть. Он чуял, что-то здесь неладно, но одинокий голос звал, молил—звал и молил инстинкт сохранения рода.

Трехпалый наткнулся на свежий санный след. Это еще больше встревожило его: иногда охотники, чтобы не оставлять следов, подъезжают к засидкам вот так—на санях. Охотник забирается на дерево на специально построенные заранее полати, а лошадь с санями возвращается в деревню.

Это ни о чем не говорит, что санный след был и обратным, это могло быть охотничьей хитростью. Трехпалый не зря, в отличие от многих своих собратьев, так долго

носил на себе шкуру: он не боялся больших дорог, но знал, какую опасность таят в лесу вот такие одиночные и безобидные с виду санные следы.

Трехпалый осторожно пошел вдоль санного следа. Он немного успокоился, когда увидел свежее остожье: значит, на самом деле возили сено.

Трехпалый вздрогнул: так близко раздался вой. Всем своим существом он знал, что нужно уходить, как можно скорее нужно уходить из этих мест, но странная щемящая сила, вопреки разуму, вопреки накопленному опыту, тащила его на вой.

Снова встретился санный след. Но Трехпалого уже ничто не могло остановить.

На небольшой поляне со стогом сена без верхушки он увидел волчицу.

Он долго наблюдал за ней. Что-то странное было в ее поведении. Она опять завывала, Трехпалый молчал. Он настороженно вслушивался в ночь, в луну, в стог без верхушки.

Вопреки себе, откликнулся. Голос был требовательный, зовущий. Но она не шла, сидела на краю поляны, как привязанная, смотрела в его сторону. Трехпалого это раздражало, но она оставалась на месте.

Тогда он решительно вышел на поляну... Когда увидел, что на волчице ошейник и она привязана за него к дереву, он понял, что попал в западню. Такой подлости он не ожидал. Волчица была домашней, и своим ласковым одиноким воем она, по-видимому, погубила не одного волка, потому что, как только Трехпалый вышел на поляну, она перестала выть и смотрела на него равнодушно.

На миг у Трехпалого появилось желание сомкнуть свои железные челюсти на ее шее, но только на мгновение. Он резким прыжком повернулся, он знал, откуда придет смерть—из этого проклятого стога, и он хотел

принять ее грудью. Ощетинился. Да вот—краснобелая молния вылетела из стога и ударила его в грудь. Падая в снег, слышал гром.

С трудом встал и ждал второго выстрела. Но его не было. Он хотел встретить смерть грудью, но выстрела почему-то не было. Все больше пьянел и повалился в снег.

Очнулся в санях, связанный—с тошнотворной слабостью в голове и теле. Кругом гавкали собаки, рвались в сани—чем мельче, тем отчаяннее. Трехпалый представил, как бы они повели себя, если бы он, свободный, прошелся ночью около деревни. Собак лениво отгонял кнутом бородатый мужик.

— Ну и громадина,—уважительно шевелилась толпа.

Потом сани тронулись. Толпа расступилась, и только собаки с отчаянным лаем провожали их далеко за деревню.

— Нет, это не из той стаи,—говорил по дороге бородатый мужик своему спутнику.—Это какой-то пришлый, одинокий. Я даже опешил, когда он из-за моей спины выскочил на поляну.

— За такого хорошо заплатят. Кроме того, что полагается пятьдесят рублей за каждого добытого волка. Так что хорошо ты на нем зарабатываешь.

— Лишнего не заплатят,—ответил бородач. Он склонился над волком:—Трехпалый, знать, в капкане побывал.

— Живучи, сволочи,—откликнулся его спутник.—Сколько веков бьют. А теперь—с самолетов, и капканы, и все равно живут. Других зверей охраняют, в тюрьму за них—а их все равно нет. А этого веками бьют, а он живет.

Бородач не поддержал разговора. Остальную дорогу до города молчали.

В городе было страшно. Кругом все грохотало, воз-

дух был густ какими-то отвратительными запахами. То и дело останавливались. Наконец куда-то приехали. Кого-то ждали. Пришел мужик в богатой пыжиковой шапке, осмотрел Трехпалого. Потыкал палкой в зубы. Что-то сказал бородачу.

— За такого-то волка...—начал было тот.

— Волк хороший, не отрицаю. Но пойми меня,дохнут они, не поспеваешь покупать

— А это меня не касается. Не надо, так я с него мигом шкуру спущу и в заготконтору.

Наконец ударили по рукам, и вот четвертый год Трехпалый странствует вместе с другими такими же несчастными зверями по маленьким и большим городам. Как говорит Директор, делают план. Премияльные, если они случаются, получают служители, которые, начиная с Директора, постоянно меняются. Иногда попадают хорошие люди, даже любящие зверей, но они скоро уходят. Во-первых, потому что любовь к животным и работа в гастролирующем зоопарке — вещи взаимоисключающие, во-вторых, далеко не всех устраивают постоянные переезды, и работали в этом гастролирующем зоопарке, в основном, люди случайные или алкаши, вроде Плюгавого, пьющие за счет зверей.

Трехпалый никак не мог привыкнуть к неволе. Легче тому, кто попал сюда в детстве, несмышленым. Кто не знает, что можно жить иначе. Звери в зоопарке были разные—и по месту жительства, и по отношению к неволе. Одни смирились, другие мрачно огрызались. Было неприятно смотреть, как южные звери мучались в северных городах, а северные—в южных, как мучался от жары северный медведь, от холода—жирафа.

Сначала Трехпалый был равнодушен к своим товарищам по несчастью. Иногда даже приходили мысли пожиться кем-нибудь при случае, например, той же косулей. Но потом он почувствовал с ними какую-то общность. Это случилось после его мести Плюгавому, после жесто-

ких побоев: поезд долго стучал по рельсам, с десяток минут стоял на какой-то станции, и вдруг в вагоне запахло лесом. Трехпалый заметался в клетке. Он чуял запах хвои, запах тайги. Скоро их выгрузили в небольшом городке. Когда в грузовике везли со станции, Трехпалый видел лес. Вечером он завыл, отчаянно и тоскливо, леденяще человеческую душу. Пришел Плюгавый, отколотил его, но он продолжал выть. Переполошил весь зоопарк, в нем начался настоящий бунт. Ревел слон, стонала гиена, рычал, метался в клетке тигр... Звери разных континентов—все словно понимали его.

И опять мотались по стране. Мучались от неволи, от жары, от холода, от болезней и делали план. Менялись города. Но везде в общем-то было одно и то же. Стучали колеса. Потом клетки выгружали, расставляли, вешали над клетками лозунги об охране животных, а по городу — красивые афиши, на которых звери были незамученными, не с вылезшей шерстью и слезящимися глазами, а сильными и красивыми.

Открывали ворота. Вваливалась толпа. Глазела. Толпа не хотела выкладывать деньги даром: если не было рядом зрителя, тыкали зверей палками, кидали в них камнями, совали в хлеб гайки и окурки. Старались разозлить зверей, ведь звери должны быть злыми. И все эти люди в самых разных городах были удивительно похожи друг на друга. Наверно, во всех этих городах были и другие люди, по-настоящему любящие животных, но они, видимо, не ходили в гастролирующие зоопарки. Нет, иногда приходили, но очень редко. Чаще всего по незнанию, что это такое.

Например, вчера зашли двое, на которых он обратил внимание. Он был коренастый, широкоплечий, с палкой, на которую тяжело опирался (наверно, тоже попал в капкан, подумал о нем Трехпалый), с рыжей бородой.

Она—тоненькая, нежная. Сразу прижалась к нему:  
— Разве можно такое показывать детям? Это не толь-

ко жестоко, это преступно. Разве это звери? Ободранные, больные. Вон посмотри на того мальчишку! Смотри, он плачет, ему жалко.

— Мама, а зачем они в клетках?

— Чтобы не кусали людей.

— Мама, это звериный концлагерь, да? Звериный концлагерь? Уйдем отсюда поскорее.

— Ну что ты? Ведь сам просился, вон, смотри, как другие дети ведут себя хорошо. Нам надо было ружье с собой взять.

— Нет, не хочу ружье. Уйдем отсюда скорее,—тащил карапуз ее к выходу.

— Ох, какой невоспитанный мальчишка,—вздыхнула она.—Не то, что другие дети.

— Ты права,—согласился со своей спутницей бородач.—Зверей нужно смотреть в природе. Может быть, один раз в жизни, но здоровых, сильных. Тогда они запомнятся на всю жизнь.

— Но ведь не все имеют возможность путешествовать, как раньше ты. Потом тебе возразят: разве можно одному человеку увидеть в природе и белого медведя, и жирафа, и слона?

— А почему все должны видеть обязательно всех зверей? Может быть, все-таки лучше видеть всего нескольких, даже одного, того же зайца, но по-настоящему, в лесу. Конечно, жалко, но ведь не делаем же мы трагедии из того, что за свою жизнь не видим всех рек, гор, стран. Мы удовлетворяемся телевизионным клубом кинопутешествий. Так и тут лучше показывать специальные фильмы. В них звери в сотни раз живее, чем эти.

— Уйдем отсюда поскорее,—еще крепче прижалась она к нему. И все жалостливо оглядывалась.

Единственные, для кого Трехпалый делал исключение, а иногда даже улыбался,—это дети. Потому что некоторые из них его жалели.

«Это хороший волк, да, папа?»

И, несмотря на то, что папы говорили, что это плохой волк, они противоречили: «нет, хороший!»

Трехпалый внимательно присматривался к детям, и ему было странно, непонятно, что из них вырастают злые взрослые люди-пьяницы и люди, что стреляют из железных палок, из которых вылетает огонь. Ему никак не верилось, что раньше был ребенком Плюгавый, Директор...

Но потом Трехпалый заметил, что почти все дети приходили в зоопарк со всевозможными игрушечными железными палками, из которых вылетает огонь. И папы настойчиво их учили:

— Стрельни-ка, сынок, вон в ту зверюгу!

— Не хочу, он хороший.

— Стрельни, стрельни!

...Плюгавый, продолжая обход, направился к его клетке. Трехпалый уже давно заметил, что он мучается с похмелья. Равнодушно ждал.

— Ну, сука, вставай!

Трехпалый послушно перешел в другой угол. Ткнув его раза три для профилактики лопатой, Плюгавый стал чистить клетку. С похмелья было тяжело. Несколько раз отдыхал.

Стал крюком вытаскивать кормушку. Застряла. Пришлось отомкнуть запор. Снова отдыхал, привалившись спиной к дверце, простуженно и сопливо кашлял. Снова ткнул Трехпалого лопатой.

И тут неожиданно пришло решение. Трехпалый рывком, всем телом обрушился на дверцу, Плюгавый упал. Трехпалый выскользнул наружу. Бросился вдоль забора. Он знал, что в нем есть дыра, днем раньше он видел, как в нее протискивались мальчишки-безбилетники. Где-то позади кричал Плюгавый. Зоопарк был расположен в большом городском парке. Трехпалый уверенно мчался между деревьями, мимо еще молчаливых качелей, кару-



сели. Но лес вдруг кончился. Трехпалый уткнулся в шумную улицу, где было полно людей и звенели трамваи.

Бросился в обратную сторону, но и там была улица. А сзади нарастал азартный гам погони, и он различал в нем голос Плюгавого.

Тогда он бросился через улицу. Ему почему-то казалось, он почему-то знал, что большой лес находится именно в этой стороне.

Большинство людей не обращали на него внимания, видимо, они принимали его за собаку-овчарку. Другие начинали вопить:

— Волк! Смотрите, волк!

Люди кричали и прятались от него в подъезды. А какой-то очень солидный дядя, вскочив на садовую скамейку, торопливо швырнул в него не менее солидный портфель.

А он никого не собирался трогать. Единственное, чего он хотел,—как можно скорее и подальше уйти отсюда. Как можно скорее и дальше.

Трехпалый в ужасе осознал, что совершенно потерял ориентировку. Потому что постоянно натыкался на большие группы людей, на машины; из-за угла вдруг, громыхая, выскакивали трамваи. Все это кричало, стучало, визжало и сбивало его с пути.

Он чувствовал: кончаются последние силы. Во-первых, сказывалось, что он долгое время просидел в клетке. А еще больше—нервное напряжение, отчаяние, растерянность, невозможность хоть на мгновение остановиться, прислушаться, принять правильное решение. Кругом были люди, кругом были каменные стены, машины, и он отчаянно метался из стороны в сторону—пугал, путал движение. Люди при виде его начинали кричать, куда-то бежали, натыкались друг на друга.

— Волк! Волк!

А он никого не собирался трогать. Он просто хотел

вырваться за город, чтобы потом уйти как можно дальше на север, в леса, где еще нет людей. Сейчас он не знает, в которой стороне эти леса. Но за городом он, конечно бы, сориентировался.

Силы совсем покидали его. Он снова перемахнул через какую-то улицу, понесся вдоль забора, пугая людей. Рядом ревели машины.

Дыра в заборе. Метнулся в нее. Какой-то ров. Черные дыры в стене. Спрятался в одну из них. Это была стройка, а черная дыра, в которую он нырнул,—подвалом.

Осторожно высунулся в другую дверь, осмотрелся. Было тихо. Все кругом звенело, шумело, гудело, а здесь было тихо. На загравке поднималась и опускалась шерсть.

Трехпалый почувствовал, как весь дрожит, как подкашиваются ноги. Пошатываясь, отошел к стене, в темноту, и лег.

Не мог успокоить дрожь. Потом провалился в чуткий полубред. Очнулся оттого, что услышал рядом голоса. Оказалось, что в эту самую дыру проникли мальчишки и сторож выгонял их обратно.

Потом в подвал забрела какая-то плюгавая собачонка. С ужасом и визгом метнулась назад, выскочила на улицу, но тут же повернулась к дыре, принялась громко и воинственно гавкать, долго и нудно, от страха поджав хвост.

Сколько Трехпалый ни ловил носом воздух, все запахи были чужие, ни один не подсказывал ему, что делать. Шерсть на его загравке по-прежнему грозно и беспомощно поднималась. Теперь Трехпалый был уверен, что он последний на планете живой волк. Потому что всех волков, которые были в его стаях, которых он встречал, давно убили, а вместо девственных лесов были скудные парки среди вонючих и кишаших людьми каменных лабиринтов.

Стало вечереть. Ждал ночи.

Он считал, что ушел далеко. По крайней мере среди этой вони нет следов, и Плюгавый его не найдет.

Откуда ему было знать, что Директор, отматерив Плюгавого и пообещав его непременно уволить, сразу же позвонил в милицию, что тут же были оповещены по телефонам и рациям все милицейские посты города, что, мало того, когда к вечеру ни от одного из постов не было получено сведений о бежавшем волке, о побеге объявили по местному радио и телевидению:

«Товарищи, сегодня утром из приехавшего в наш город на гастроли зоопарка бежал волк. Просим вас, кто видел волка на улицах нашего города,—где и в какое время суток,—сообщить в ближайшее отделение милиции».

Откуда Трехпалому было знать, что весь город объявил ему войну. Что на ночь были назначены дополнительные милицейские патрули, которые со всей серьезностью возложенных на них задач навешивали на бока пистолеты. Полуторамиллионный город словно оказался на осадном положении. И угрожал ему волк, бежавший из гастролирующего зоопарка.

Даже собирающийся на пенсию добродушный прапорщик местного гарнизона Маликов, который был еще и внештатным корреспондентом вечерней газеты и который однажды удивил своих коллег по перу тем, что, сдавая очередные фотографии ответственному секретарю редакции, на реплику того, что нужно обрезать края снимков, поспешно кивнул: «Сейчас, сейчас, разумеется!»—и тут же вытащил из кобуры, висевшей на боку... ножницы. Так вот—даже прапорщик Маликов впервые за многие годы в кобуру вместо ножниц вложил пистолет.

Весь день Трехпалого трясло. Но особых происшествий не произошло. Если не считать того, что два раза в дыру с разрешения сторожа стройки пролезали похожие на Плюгавого, такие же синеносые и обтрепанные

мужики. Вместе со сторожем прятались в одном из подъездов.

— Волк, говорят, бежал,—гнусил один из них, срывая с бутылки пробку.—В очереди слышал сейчас.

— Вот поймать, вознаграждение...

— Не, лучше прикончить. Шкуру содрать. Переждать, а там—нате, мол, на охоте добыл. Пять красненьких.

— Да!...Пять красненьких!

Потом наступила ночь. Но улицы не пустели. Несколько раз Трехпалый подкрадывался к дыре, но каждый раз его загоняли обратно то фары машин, то одинокие парочки, то грохот внезапных трамваев.

Совсем затихло только перед рассветом. Трехпалый наконец решил выбраться на улицу. Торопливо и осторожно зарысил вдоль забора.

Угол. Здесь дома были поменьше. Но дальше на пригорке тянулись к небу какие-то башни, трубы, дымы; полыхали огромные костры, противно воняло, свистело. И Трехпалый повернул в обратную сторону, где молчаливо и плотно темнели дома.

Сначала он панически забивался от редких машин во дворы, под заборы, но потом освоился, шел увереннее, заранее прячась от машин под деревьями. До рассвета нужно было уйти из города. Но город не кончался. Трехпалый не подозревал, что забирался в него все глубже, что на рассвете, глядя в испуге на те вонючие и шумные трубы, он был всего ближе к заветной цели—за огнями и шипящими трубами, а это был круглосуточно работающий нефтеперерабатывающий завод, начинались поля, а дальше — лес. Он же, обманувшись ложной тишиной жилых кварталов, стал забираться в центр почти полумиллионного города. Если бы он шел по прямой, то и так до утра бы успел пересечь город. Правда, там улицы спускались к реке, но за рекой был большой лес. Трехпалый же сильно кружил, путал: не было запаха, за который можно было бы зацепиться, и выбирал путь в зави-

симости от того, куда загоняла его очередная, противно шуршащая, с двумя огнями во лбу, машина или прохожий.

Наконец Трехпалый выбрался на какой-то большой проспект. Рассвет летом наступает рано, но город был еще пуст, и Трехпалый, зная, что у него остается все меньше шансов на спасение, понесся по проспекту широкими, стремительными рывками—под сенью тянувшихся вдоль него рядов лип. Под ними было как-то спокойнее.

Завидев встречную машину, он уже не бросался от нее в ужасе, а ложился в кустарнике, под липами, тем более, что если он даже иногда не успевал сделать этого, машины спокойно проносились мимо: скорее всего они принимали его за собаку.

Но вот зазвенели первые трамваи, на улицах появились люди с метлами, и все, как один, принялись скрестить ими землю. С каждой минутой людей на улицах становилось все больше.

Трехпалый снова заметался. Уже несколько человек в испуге шарахались от него, один пытался задавить машиной.

Трехпалый не знал, что до конца города ему осталось бежать всего минут десять—если, несмотря ни на что, мчаться дальше по проспекту. Инстинктивно он даже, кажется, чувствовал это.

Но ему мешали уйти. Каждый считал своим долгом остановить его. Трехпалый не знал, что все, кто видел его, бежали к стеклянным желтым будкам на углах улиц и звонили в милицию. Перед усталым седым человеком со шрамом через весь лоб висела большая светящаяся карта города, и он помечал на ней местонахождение волка.

«Совсем недалеко от окраины»,—думал капитан, не мало повидавший в своей жизни. Увидев его немного позже, у сарая, в который его загонят, Трехпалый на мгновение удивится: «Неужели по человеку тоже стреля-

ли из железной палки, из которой вылетает огонь? Но кто?» Трехпалый не подозревал, что люди сажают в клетки не только зверей, но и друг друга, и охотятся не только на волков, но и тоже друг на друга, и что, когда много людей охотятся друг на друга, это называется войной.

«Пожалуй, уйдет... А может, и лучше, если уйдет,— думал капитан.—Меньше хлопот, и никого не тронет. Пусть бы себе спокойно ушел в лес».

Но вот еще один звонок, захлебывающийся от гордости и восторга:

— Загнали в сарай. Приезжайте!.. Смотрю, несется по двору. А я как раз машину мыл. Ну, за ним. Он на улицу. Здорово чешет. Клычищи. Догоняю. Ну, думаю, сейчас задавлю. А он из стороны в сторону. А деться некуда— кругом люди. Во двор. А двор оказался глухим. Мы за ним, человек тридцать. Ему ничего не оставалось, как в сарай, в гараж. Закрыли...

— Ждите, сейчас приедем,—сказал седой усталый человек со шрамом устало и холодно. Ему почему-то был неприятен захлебывающийся восторг того, в телефонной будке. Ему почему-то хотелось, чтобы волк ушел из города.

— Запишите мою фамилию,—продолжал ликующий голос в трубке.

— Спасибо вам! А фамилия ваша нам не нужна,—сказал капитан почти уже раздраженно.

— Ну я же его загнал. Остальные мне только помогали. Они просто так, свидетели, что ли. Ежели бы не я, он бы ушел.

— Спасибо! Сейчас приедем. Скажите, чтобы волка не били, его нужно вернуть в зоопарк.

— Вы фамилию-то мою все-таки запишите, а то здесь народу полно. Как вы меня узнаете. А потом, может, в газету нужно будет. Вас спросят, кто поймал, а вы и ответить не сможете.

Седой усталый капитан со шрамом поморщился.

— Записываю,—он вспомнил, что вчера раза два звонили из вечерней газеты, просили непременно позвонить, как только будут какие-нибудь сведения о волке.—Вы тогда подождите, не уезжайте. Позвоните на работу или отгоните машину и возвращайтесь.

Он вызвал дежурного сержанта.

— Где у нас телефон директора зоопарка? Да, гостиничный.

К телефону долго никто не подходил. Потом раздался сиплый и недовольный голос:

— Да! Кто так рано?

— Нашли вашего волка. Ждем, приезжайте,—капитан, не дожидаясь ответа, положил трубку.

...Гудела толпа во дворе.

Трехпалый сидел в углу за вонючей бочкой из-под бензина. За железными воротами, в которые он влетел, гудела толпа.

В ожидании милиции и представителей зоопарка рассказывали самые невероятные истории, в которых волки непременно нападали на человека.

Отчасти это было правдой. Но нападали волки на человека чрезвычайно редко: или раненные самим человеком, или доведенные им непродуманной охотой на дичь, которой питаются волки, до крайнего голода. Люди несправедливы к волкам, думал Трехпалый. Никого, наверно, волк не ненавидит так, как человека, если не считать собаку, к которой он питает особую ненависть, потому что она предала волчий род и переметнулась к человеку, но разве тронет волчица брошенного щенка. Нет! Но не только не тронет, а утащит к себе в логово и вскормит его, как родного волчонка. И не тронет она маленького ребенка, а тоже вскормит; сколько в истории было таких случаев, хотя, после собаки, волк никого не ненавидит, как тебя, человек, может быть, потому, что ты нарушил биологическое равновесие в природе...

— А если попадет в стадо, всех овец перережет.

И это была правда. Он не знал почему, но, попав в стадо, волк не останавливался на одной овце. Видимо, в этом был какой-то смысл, раз так решила природа.

Трехпалый равнодушно наблюдал в щель за гудящей толпой, положив седую голову на лапы. Он не испытывал к этой толпе и к каждому в ней человеку в отдельности никакой ненависти. Он понимал, что они тут ни при чем. Просто им с пеленок втравили в мозги, что волков нужно везде, всегда и любым способом уничтожать. Что волк—персона нон грата на этой планете. А куда ему деться? Куда? Умирать он почему-то не хотел, и это вызвало у них недоуменное восхищение: они беспощадно били его много веков—а он не вымирал, он хотел жить.

И если волк во время охоты попадался недобитым или его брали маленьким в логове, то считалось чуть ли не верхом гуманности посадить его в клетку. И страшно удивлялись, если волк пытался бежать из нее. Ведь его в ней кормили и сравнительно неплохо, а на воле он жил бы впроголодь и в вечном страхе встретиться с охотником.

Трехпалый не испытывал ненависти к шумящим за воротами людям. Даже сейчас, прежде чем они его убьют, он многим успел бы разорвать горло, но это ему было не нужно.

Люди за воротами свято верили, что, загнав его в сарай, творят доброе дело. Тут же ничего не поделаешь, когда в тебя это втравили с пеленок. Когда это даже вписали в справочники и энциклопедии, что волков нужно везде, всегда и всячески уничтожать. Правда, в последнее время об этом стали говорить менее категорично, между учеными даже разгорелся спор: вреден волк больше или, может быть, отчасти полезен, потому что оказалось, что он в природе несет функцию санитара, что на Чукотке, например, когда там перебили всех волков, стали



чахнуть олени. Но ни Трехпалый, ни толпа, гудящая сейчас за железными воротами, не знали об этом. На этой планете ему не было оставлено места.

Трехпалый проклинал себя за неудачный побег, что так глупо мотался по дворам. Бежать нужно было тогда, два месяца назад, на железнодорожной станции, когда рядом был лес. Тогда бы он непременно ушел. Но тогда он замешкался. Всего на несколько секунд, но они реши-ли все.

Трехпалый знал, что уже никогда больше не увидит серебристо-холодных снегов, морозного солнца на них, весенних потоков. Не увидит той счастливой страны, меч-той о которой он только и поддерживал в себе жизнь. Почему-то он вспомнил ту волчицу, из-за которой он по-пал сюда,—единственную с ненавистью. Он считал тог-да, что был чуть ли не единственным оставшимся в жи-вых волком на свете, и когда услышал одинокий вой, отмякло ожесточенное смертью сердце, и он решил увести ее за собой...

Трехпалый чувствовал, что толпа кого-то ждет, и то-же ждал. Он знал, что рано или поздно должен появиться человек с железной палкой, из которой вылетает огонь, и тогда будет все.

Вот толпа зашумела.

— Едут, едут.

Стихло.

Ворота заскрипели. У Трехпалого встала на загривке шерсть. Было страшно. Он зарывал. Не для того, чтобы кого-то напугать, а чтобы подбодрить себя.

Шире расставил ноги.

Сотни глаз, враждебных, недоуменных, жалостливых, впились в него. Но он не замечал их. Он смотрел на того, которого все пропускали вперед. Это был он, человек с железной палкой, из которой вылетает огонь.

Трехпалый ждал. Дрожал всем телом.

И вдруг по-настоящему стало страшно. За спиной человека с палкой, из которой вылетает огонь, он увидел Директора и Плюгавого. Директор смотрел на него почти укоризненно, а Плюгавый со злорадством и ненавистью.

И Трехпалому стало страшно. Он понял, что и на этот раз его не убьют. А усыпят той же гадостью, что и тогда, у стога. Вернут в клетку.

И тут родилась ненависть. Броситься на Плюгавого или Директора. Непременно на Плюгавого или Директора, тогда, может быть, убьют.

Но это была только мысль, потому что в следующее мгновение из палки вылетел огонь.

Теряя сознание, Трехпалый стал рвать себя за ноги, за живот.

Он уже не слышал, как его связали. Фотографировал с разных точек прапорщик Маликов, у которого впервые за многие годы в кобуру вместо ножниц был вложен пистолет.

А в это время сквозь толпу пробирался широкомордый молодой человек. На него шикали, но он, возбужденно, бесцеремонно наступая на ноги, пробивался вперед.

— Пропустите, это я его загнал, пропустите,—убеждал он милиционера, который оттеснял его в сторону, призывая к порядку.—Я его загнал в этот сарай. Товарищ капитан, я тот Сидоров, который вам звонил. Скажите ему.

Капитан устало отмахнулся.

— Товарищ капитан, вы еще сказали, что нужно отогнать машину и вернуться, что это для газеты надо.

Седой капитан со шрамом, видимо, что-то вспомнил. Потому что тронул за плечо прапорщика Маликова, крутящегося вокруг связанного по всем ногам окровавленного волка:

— Товарищ корреспондент, вот парень, который загнал волка в сарай.

— А ну, давай сюда,—обрадовался парню прапорщик Маликов.

Только теперь милиционер пропустил парня в кольцо. Тот торжествующе и надменно окинул взглядом толпу, которая только что не хотела пропускать его, а теперь смотрела с любопытством, встал около волка, выпятил грудь.

— Да улыбнитесь вы. Да расслабьтесь, расслабьтесь,—поворачивал его так и сяк прапорщик Маликов.— Непринужденно встаньте.

Парень никак не понимал. Прапорщик Маликов совсем было отчаялся, но, наконец, вроде бы получилось. Стал записывать:

— Сидоров я. Василий Петрович. Шофер... Как было? Мою я, значит, машину. Смотрю, волк. Глаза сверкают, клыки. Ну, я за ним. (На самом деле, увидев волка, он в бесшумном и стремительном прыжке перенес свое грузное тело в подъезд. «Кинь в него палкой! Кинь в него палкой!»—кричал мальчишке на детской площадке. Только когда тот швырнул обломком доски, и волк скрылся за углом, он осторожно пробрался в машину.) Ну, думаю, может кого-нибудь загрызть, порядок общественный нарушить. Это можете не записывать, некрасиво как-то получится, как бы хвалюсь, что ли; долг каждого гражданина предотвратить опасность.

Через час по радио, а вечером по телевидению объявили, что волк пойман, и администрация зоопарка просит извинения и приглашает горожан в гости.

Плюгавый тайком отколотил Трехпалого: «А, зверюга, вернулся!», а Директор, вкативший Плюгавому выговор с последним предупреждением, через день поглядывал на Трехпалого даже с любовью—давно в зоопарке не было так многолюдно. И все толпились около клетки Трехпалого. Он был знаменит.

— Это тот самый волк, который сбежал.

— На самом деле?

- Да.
  - Волк—он есть волк.
  - Это тот самый волк? Миша, иди сюда. Вот он где.
  - Говорят, кого-то загрыз.
  - Да, наделал бы дел, если бы вырвался на свободу.
- А Трехпалый равнодушно лежал в углу и даже не улыбался детям.

# Билет в детство

---

Чем дальше мы от него, чем больше мотает нас по свету и колотит о жесткие камни судьбы, тем больше нам хочется в него. Каким бы оно ни было! Но в детство,— даже на несколько дней, даже на несколько часов, даже на несколько минут,—уже никогда не вернуться. И, пытаясь обмануть себя, мы возвращаемся в страну детства. Возвращаемся—и растаптываем ее в своей памяти. Потому что в детстве уже давно живут другие люди, все в нем до стона родное, но в то же время все уже давно не то чтобы чужое, а отгоревшее, и кроме горечи ничего из этой встречи не уносишь.

Самое странное, что обо всем этом знаешь заранее. Что так оно и будет. Что ни в коем случае нельзя возвращаться туда, где тебе когда-то хоть чуточку было хорошо.

Рано или поздно, наверно, каждый постигает эту простую истину. Но каждый по-своему—обязательно отвергая горький опыт своих предшественников. Каждый,—не веря никому: да, никому не удавалось, а вдруг мне удастся,—непременно сам хочет ткнуться носом в печальную горечь разочарования. И, ткнувшись, изре-

кает до ужаса банальный, но в то же время до ужаса верный, афоризм, что-то вроде этого: «Мальчики, никогда не возвращайтесь в старые башни, где вам когда-то хоть чуточку было хорошо!»

Почему же мы так стремимся попасть в детство—чем дальше от него, тем сильнее? Почему мы стремимся во что бы то ни стало разрушить, обворовать его в своей памяти, словно оно висит на нас хотя и дорогим, но все равно тяжелым, обременяющим грузом? Словно без него нам будет легче жить. Словно без него нам будет легче устраивать сделки со своей совестью.

А если вам в этой башне было не очень хорошо?... А если вам в этой башне было очень нехорошо?.. Но все равно, как бы то ни было, это самое лучшее, самое светлое в жизни—ведь это детство.

За свои двадцать пять лет я уже несколько раз успел обжечься на старых башнях, правда, не столь отдаленных, как детство, каждый раз давал себе слово—не возвращаться, и снова возвращался к ним. Но, как ни странно, я ни разу не вернулся в детство. Потому что мне не хотелось в детство, потому что я ненавидел свое детство. Точнее: мне всегда хотелось в страну моего детства, потому что страна эта лежит в необыкновенно тихой и звонкой местности; крик гусей, особенно осенью, словно ликующий клич охрипшей трубы, долго и далеко отскакивает от торжественно притихших лесов, от студеной и прозрачной воды, от осыпавшихся рыжих скал, в многовековом раздумье нависших над ней. В любую погоду, даже в самое осеннее ненастье, в ее воздухе висит какое-то томительное и светлое волнение. С низкими и холодными тучами оно вываливается из-за невысоких гор, сеется из них, словно дождь, или вместе с дождем, и снова с тучами, уплотняясь к горизонту в теплую и желтую, еле заметную полосу над горами, уходя за них и зовет за собой.

Где я только ни был за эти десять лет, но никогда

больше не видел такого неба, таких прозрачных и тихозвонких рассветов, когда проснешься и вдруг замрешь от боли, что ты проспал что-то очень важное, а может, даже главное в своей жизни: кромка невысоких гор непорочно томится желтым и ликующим светом, и хочется вскочить и побежать босиком за эти сверкающие зубцы и узнать, что за страна лежит за ними.

Мне всегда хотелось побывать на нашей реке, я часто вижу ее во сне: звонкую и веселую на перекатах — в ведро, печальную, уютную — в ненастье. А если заночевать где-нибудь на ее берегу под горой Сосновкой, то утром, когда немного рассеется туман, можно увидеть, как на перекат осторожно друг за другом выходят лоси, как они долго и медленно пьют парную воду, а потом, вздрагивая гладкой и влажной шерстью, вслушиваются в тишину.

Конечно же, еще больше мне хотелось побывать на самой Сосновке с ее таинственно кричащими коршунами, с загадочными глухomanями, с тетеревиными токовищами. Где-то там остался мой теперь, конечно, уже сгнивший шалаш.

Мне хотелось увидеть и Большой Бугор с его подснежниками и жаворонками. Мне хотелось увидеть и... — мне хотелось увидеть все те маленькие, простенькие радости, из которых складывается детское счастье. Но я не хотел видеть деревню, дом, в котором родился, родных и знакомых, которые, конечно, еще живут там.

Потому что деревня, улица, дом, родные, знакомые знают мою тайну. Потому что они знают, зачем я появился на свет. А я не хотел, чтобы кто-то, пусть молчаливо и нечаянно, напомнил мне об этом. Или я не должен был родиться, или я не должен был знать, зачем я появился на свет. А я знал: я был нужен двум исковерканным войной людям, чтобы спрятаться от ее ужасов. Я был приبلудным плодом войны. Мать моя, медик по профессии, боялась войны, а отец мой, тогда еще не

отец, вернулся оттуда с оторванной ногой, ему куда-то нужно было приткнуться—и я появился на свет. Но отцу, кроме ноги, война продырявила душу, пустоту эту он заливал водкой, но это не помогало, так как душа была с дырой. Нельзя сказать, что мои родители меня не любили, каждый по-своему, наверно, любил, но с первого дня, как только стал сознавать себя, я знал из их постоянных душераздирающих скандалов, зачем я появился на свет.

На нашей улице у всех моих сверстников не было отцов — всех их на войне торопливыми неухоженными горбами зарыли в планету, другие затерялись без вести в чужих странах. А у меня отец был, пусть калека, пусть пьяница, но был, и всегда я на улицу выходил с куском хлеба, пусть черного, пусть с примесью желудей, но хлеба, и за это мои сверстники, оборванные и зачастую голодные, меня не любили: и за то, что у меня был отец, и за то, что у меня был кусок хлеба. И вот поэтому за все эти годы у меня ни разу не появилось желания вернуться в детство, из которого я, можно сказать, эмигрировал. Потому что не мог больше так жить, чем старше я становился, тем больше во мне поднимался протест. Я мог жить дальше только при условии, что вокруг меня никто не будет знать, зачем я появился на свет. В пятнадцать лет я эмигрировал из детства: оставил на столе записку и огородами ушел к большой дороге — ловить попутную машину на железнодорожную станцию.

И вот получилось так, что через десять лет судьба случайно забросила меня в страну моего детства. Нет, мне совсем не хотелось в детство: я знал, что этой поездкой совсем погублю его, а мне его было жалко, ведь оно все-таки было хорошим. Я приехал сюда в командировку, от которой мог, но не решился отказаться.

— Ты ведь, кажется, из тех мест? — спросил меня шеф.—Так вот тебе и карты в руки. Думаю, приятно



будет съездить на родину. Да и, честно говоря, больше поехать некому.

— Ладно,—согласился я.

Был конец сентября. Поезд пришел на станцию моего детства тихим и хрупким морозным рассветом. На мое счастье в страну моего детства через полчаса уходил заспанный жучок-автобус. Утренний туман был до того густ, что по бокам дороги кроме неясных, близко подступающих к дороге берез ничего не было видно. По поворотам дороги, по подъемам или, наоборот, спускам я пробовал узнавать, где мы едем, и странно: узнавал. Оказывается, что я ничего не забыл.

Но дорога от станции моего детства до страны моего детства оказалась, к моему удивлению, очень короткой, мы ехали всего где-то с полчаса, а ведь раньше даже у взрослых этой дороге предшествовали чуть ли не недельные сборы.

Автобус проскочил березовую рощу, вскарабкался на пригорок. Я заволновался и, вытянув шею, смотрел вперед. Обычно отсюда ее уже было видно, она находилась за селом, в которое мы въезжали, но сейчас она была спрятана туманом. Автобус, скатившись с пригорка, простучал по шаткому мостику, который до сих пор я тоже считал почему-то очень большим, и покатил между двух рядов... смутно плавающих в белой пелене изб.

Еще на станции я внимательно присматривался к попутчикам, но знакомых среди них вроде бы не было. Теперь я смотрел, как они, не обращая на меня внимания, уходили в туман, и я был почему-то рад, что никто из них меня не знал.

Я пошел к маленькому, почерневшему от дождей дому заезжих на верхней окраине села на холме, тому самому, что и в детстве, но тогда он был совсем новым, а деревня моего детства лежала у реки в другом конце села, приткнувшись к нему брошенными огородами, а

за рекой была заветная гора Сосновка, но пока не было видно ни деревни, в которой я родился, ни Сосновки. Было очень странное ощущение: я приехал, я был совсем рядом, но ничего не видел.

Часам к девяти туман наконец рассеялся, на гостиничном заборе весело зашумели воробьи, и я увидел внизу за селом среди сжатых полей свою деревню: десятки синих и белых — в зависимости от того, какими дровами топили, — прямых дымных столбов поднимался над темными крышами; река еще курилась туманом, где-то трубно кричали гуси, с ними глухо и нескладно перекликался топор, смешанное эхо звонко отскакивало от каменистых склонов Сосновки, над которой за полосой темных сосен прощально полыхало осинами бабье лето.

Я стоял, навалившись грудью на забор дома заезжих, и со странным чувством нежности и горечи смотрел в страну, куда нет возврата.

Пошел в контору лесхоза, в который приехал. Опять боялся, что встречу здесь кого-нибудь из знакомых. Но мои опасения оказались напрасными; впрочем, в этой части села меня и в детстве почти никто не знал.

После работы вернулся в дом заезжих. Еще в Свердловске, на случай безделья, запасся журналами, но не читалось. В стареньком Доме культуры через улицу напротив (когда-то он тоже казался мне очень большим) шел хороший фильм, но там-то уж я обязательно столкнулся бы с кем-нибудь из деревни моего детства, поэтому не пошел. Я—заезжий!—сидел на куче березовых дров во дворе дома заезжих и смотрел издали на деревню своего детства. До чего она была маленькой! И до чего была маленькой вся страна моего детства: село, узкие, небогатые поля между холмов, река, за ней заветная и тоже небольшая гора Сосновка, над которой отрешенно перекликались коршуны.

Прогнали стадо, задымилась трубы над избами, за-теплились желтые капельки окон...

Утро было чистым и звонким. Как в детстве — проснулся с чувством, что что-то проспал, может быть, самое главное в жизни. Я уже успел смириться, что все здесь, по сравнению с детством, маленькое и скромное, но, как ни странно, небо было все тем же — огромным, сияющим и зовущим за горизонт. Где я только не был за эти годы — но больше нигде не видел такого неба. Теперь я знал, как его назвать: оно было великим. Это я понял сразу, как только проснулся.

И опять после работы сидел во дворе дома заезжих на березовых дровах, смотрел издали на лежащую внизу деревню детства и вспоминал, вспоминал.

Не выдержал, вышел в желтое поле, пошел к Большому Бугру. Я с трудом узнал его, такой он был маленький. В детстве, чтобы дойти до него, после долгих сборов нам нужно было полдня, а теперь я дошел до него за пятнадцать минут. А, впрочем, может, совсем не потому, что в детстве это было для нас уж очень большим расстоянием, просто в детстве все было иначе. Ну что сейчас: заметил, что дошел за пятнадцать минут и что по обе стороны дороги сжатое поле, и что на туфли налипла грязь. А тогда по дороге нас приводил в священный трепет каждый цветок, каждая птичка, выпорхнувшая из ржи; мы могли часами, притаившись, наблюдать за жизнью какого-нибудь жучка. А теперь? Мы рвемся к земле из шумных городов, но, вырвавшись, вдруг замечаем, что с ней у нас уже нет того единства, когда-то что-то мы потеряли, нам больно от этой потери, но нам уже скучно здесь, и мы торопливо убираемся в свои города. Может быть, потому, что в них можно не думать, потому что в них некогда думать — среди созданной самим человеком суеты-свистопляски человек редко остается наедине с самим собой.

Большой Бугор был частью страны моего детства.

На Большой Бугор мы ходили только раз в году — лишь сойдет снег, за подснежниками, пока заветная Сосновка отрезана половодьем. Большой Бугор с двух сторон сжимали поля, и среди сухой прошлогодней травы между небрежно разбежавшихся по косогору березок — россыпи синих, белых, сиреневых нежных бутонов сон-травы. Заброшенная мельница внизу. Таинственные, немного жутковатые провалы дверей; через прорванную, заросшую ивняком и черемухой плотину падают холодные весенние воды.

Во все другие времена года мы забывали о Большом Бугре — поднимались, набирали силу хлеба, и он постепенно терялся среди них. В другие времена года нашими сердцами властвовала Сосновка. На следующий день я специально ушел из конторы пораньше, чтобы сходить на нее. По шаткому висячему мосту перебрался через реку.

Глухо шумели сосны. Молча, а потому еще более горько, горели рябиновые костры.

За годы без меня здесь почти ничего не изменилось. Только повзрослели, вымахали чуть ли не на три метра ввысь в то время совсем маленькие сосновые посадки.

Опять смотрел на деревню своего детства — только теперь уже с противоположной от дома заезжих стороны: с обрыва над рекой в просветы между сосен. В детстве мне часто приходилось смотреть отсюда на свою деревню — на Сосновке, среди незлобивого зверья, деревьев, трав и птиц, отводил я душу, убегая сюда от своих не детских бед. Вот остатки моего шалаша, как в нем страшно было во время внезапной грозы и по ночам: в темноте глухо и жутко шумели вековые сосны, устало скрипели; ухали совы, в старой хвое под подстилкой шуршали мыши.

Сходил я и к мшистому роднику за колхозной пасекой, и даже на поросшую чертополохом поляну над ска-

лой, где раньше был охотничий хутор и где я был всего дважды в жизни.

За день я обошел все заречье, и все было близко, все было рядом, а раньше каждый из этих походов был бы для меня событием. Возвращаться в дом заезжих через мост было далеко, и, как в детстве, сняв брюки и закрутив в них туфли, перебрел реку по перекату. Ноги занемели от студеной воды, холод залез даже в кости, и я долго растирал их, пока они не стали гореть.

Пошел вверх по реке, рассматривая прибитые к берегу щепки, обрубки досок, водоросли и разный другой хлам, принесенный издалека,—я очень любил это занятие в детстве. Поравнялся с островом. И тут разноцветную гальку перебирал перекат. В воде у берега что-то белело. Нагнулся: это был приплывший из чьей-то сегодняшней страны детства размокший бумажный кораблик. Придирчиво осмотрел его и почувствовал к раскисшему, не приспособленному к дальним плаваниям суденышку необыкновенную нежность: неровно вырванный лист из школьной тетради, расплывшиеся фиолетовые каракули, и надо же—со времени моего детства конструкция бумажных кораблей ничуть не изменилась.

Река незаметно привела меня к деревне моего детства. Я постоял у околицы, но войти в нее не решился. Стал обходить огородами: мимо конопляных зарослей по краю оврага, мимо березового кладбища с единственной сосной на отшибе. Под этой сосной лежит мой дед. Когда-то самый большой на кладбище лиственничный крест почернел, покосился. А вот и крыша дома, в котором я родился, в котором прожил до пятнадцати лет. Теперь в нем живут незнакомые люди. Мне хотелось остановиться и подольше посмотреть на него, но бессознательно я ускорил шаг, и скоро он исчез за другими крышами.

Вдруг остановился: по тропе навстречу мне, задумавшись, медленно шел Шарик, мой Шарик!

Я уже давно забыл о нем, я совсем забыл, что он вообще был на свете, а он вот по-стариковски ковыляет мне навстречу и все еще не видит меня, и мне стало очень больно. Я вдруг вспомнил, как мы делили с ним вместе наши горькие дни, ведь он был единственным моим другом, как он провожал меня до шоссеиной дороги, не подозревая, что я уезжаю навсегда. Он стал совсем седым и старым.

— Шарик!— окликнул я дрогнувшим голосом.— Шарик!

Он вздрогнул, испуганно остановился, но тут же оправился, равнодушно посмотрел на меня и свернул с тропы в сторону, в заросли полыни.

— Шарик!

Но он даже не оглянулся. Торопливо ковылял прочь. Хотел перепрыгнуть через плетень, но не хватило сил, сорвался. Понуро поковылял, прихрамывая, вдоль плетня, скрылся в полыни. Он не узнавал меня.

Но я видел, что он узнал меня, но принципиально не хотел узнавать. Я видел, что эта встреча неприятна ему. Он принципиально не хотел узнавать человека, которого считал лучшим другом, который предал его, бросив на произвол судьбы.

Как я не хотел в детство!

Как я не хотел в детство! Но оно не хотело считаться с этим и горькой волной воспоминаний тащило меня в себя. Я стоял и смотрел на заросли полыни, куда он ушел. Надо же, он жив, а я за все эти годы даже ни разу не вспомнил о нем!

— Шарик!— позвал я неуверенно.

Но Шарика не было. Лишь колыхалась, шуршала под ветром полынь.

Я медленно побрел дальше. Может быть, это все-таки не Шарик, ведь прошло столько лет? Нет, Шарик. Мне было стыдно и больно.

На углу огорода обернулся. Шарик, сгорбившись,

стоял на тропе и смотрел мне вслед. Но стоило мне сделать шаг в его сторону, как он тут же исчез в овраге. Он не хотел встречаться со мной, он презирал меня, и я поплелся ночевать в дом заезжих на холме.

Я сразу все вспомнил: как уезжал отсюда десять лет назад, как меня душили слезы, как он бежал рядом со мной и лизал мне руки, стараясь меня успокоить. Как я залез в грузовик, а он все бежал за машиной, до него еще не доходило, что я уезжаю навсегда.

Как я не хотел в детство!

Но детство уже забрало меня в себя. Что переполнило тогда чашу моего терпения? Или просто в тот день я почувствовал себя взрослым? Не помню почему, но у меня был тогда очень хороший день. Может быть, в тот день я в первый раз был влюблен. Не помню...

Я долго не мог уснуть. Хотел этого или не хотел—воспоминания лезли в голову, воротили душу.

«А ведь они, родители, каждый по-своему, наверно, любили меня,—думал я.—Конечно же, любили. Но стояло что-то между ними, что не давало им жить не то чтобы в счастье, но хотя бы в миру, и в то же время что-то намертво связывало их, ведь они так и не порвали между собой. Неужели я?»—осенила меня догадка. И мне стало еще горше.

И опять было ослепительно томительное утро. Весь день думал о Шарике. Мне было горько и стыдно. Я пытался убедить себя, что в случившемся не столь уж виноват. Ну, куда я мог его тогда взять? Куда? Ведь я тогда не знал, куда самому приткнуться. Но он ведь был твоим лучшим другом. И разве ему есть дело до таких тонкостей.

Как я мог сразу забыть о его существовании? Ведь это самое страшное. Ведь за все эти годы я даже ни разу не вспомнил о нем. Забрать сейчас? Теперь уже поздно. Да и что он в городе будет делать? Он не смо-

жет там жить. Да и куда—в набитую, как бочка с селедкой, коммунальную квартиру.

После работы, не заходя в столовую, пошел вокруг деревни моего детства. Говорил себе: не надо, но пошел—мимо сжатого поля, мимо кладбища, на котором лежали все мои родственники, не считая тех, кто не вернулся с разных войн, мимо конопляника, мимо дома, в котором родился. Всмотривался в огороды, но Шарика не было, и вместе с сожалением было облегчение. Не встретил я его и на завтра. И опять вместе с болью пришло какое-то облегчение. До конца моей командировки оставалось четыре дня, и я так и не решился войти в деревню своего детства.

На следующий день после работы около дома заезжих неожиданно столкнулся с Ленькой Парфеновым. Когда-то мы учились в одном классе.

— Привет!—сказал он.—Давно тебя не было видно... Что, в гости?

— Да нет, в командировку.

— Надолго?

— В субботу уезжаю.

— Где ты теперь?

— В Свердловске.

— А кем?

— Лесник я.

— Да что ты делаешь, лесник, в городе-то?

— В управлении лесного хозяйства.

— А-а!..—протянул он то ли с уважением, то ли, наоборот, разочарованно.—А я шоферу... Давно тебя не было. Выпить не хочешь?

— Да неохота, Леня. Работа есть.

— Ну смотри, а то за встречу можно бы.

— Не хочется, Леня.

— А остановился у кого?

— В доме заезжих.



— У родственников-то не хочешь? Ведь у тебя их тут до черта.

— Да некогда. Там ведь пир горой пойдет, водка, а у меня командировка. Даже по вечерам много работы.

— Это так,—понимающе кивнул он.

Оба неловко замолчали.

— А ведь долго тебя не было. Лет пять, наверно?—пытался спасти разговор Ленька.

— Да нет, десять.

— Летит время.

Снова неловко замолчали.

— А ведь Шарик твой жив,—оживился вдруг Ленька.

— Знаю, видел,—поежился я.

— Старый совсем стал, седой. Как ты из дома-то ушел, он скучал больно. Все искал тебя. Пойдет на дорожку и все машины рассматривает, не приедешь ли ты. По ночам все выл. Спать не давал, твои лупить его стали. Потом они уехали, а Смирновы, что дом их купили, прогнали его... Стреляли в него как-то, года четыре назад, когда бродячих собак отстреливали. Ногу ему прострелили. Ногу ему прострелили, но спрятался, выжил. А потом тетка твоя, Анна, помнишь, в детстве она за тобой ходила, души не чаяла. Она его подкармливает. В столовой она работает. Уборщицей. Кости, помои ему... Может быть, все-таки зайдешь перед отъездом-то? Ведь как-никак в одном классе учились.

— Зайду,—пообещал я, хотя твердо знал, что не зайду. Скорее всего, я уеду раньше срока.

Столовая была закрыта. Я спустился к реке. Вороны, когда я проходил совсем рядом, недовольно поднимались от холодной воды, тяжело облетали меня стороной и снова неуютно взгромождались на крутой берег.

Вернулся к дому заезжих, сел на бревна. Вдруг мне стало неловко, даже поежился, словно кто-то пристально

смотрел мне в спину. Я обернулся—за забором, спрятавшись в крапиве, смотрел на меня Шарик. Увидев, что я заметил его, он жалко сгорбился и поплелся прочь, припадая на правую заднюю ногу.

— Шарик! Шарик!—бросился я за ним.

Он бежал от меня изо всех сил, тяжело перескакивал через канавы, путался в крапиве—словно его уличили в воровстве.

— Шарик! Шарик!—задышался я позади. Мне почему-то хотелось плакать, и впервые за все эти годы мне захотелось в детство.

Но Шарик не хотел в детство. Из последних своих собачьих старческих сил, хромя, он убегал от меня. Но, поняв, что не убежать, остановился и, опустив голову, искоса ждал, потом просительно заскулил, лег и закрыл глаза.

— Шарик!—до предела запыхавшийся, я лег рядом с ним.—Шарик!—гладил я его седую, всю в репьях голову.

Тяжелые судороги пробегали по его худому телу, он постоянно вздрагивал и все отворачивался от меня.

— Шарик!—я припал лицом к его холодной морде.—Ну, прости меня, подлеца, прости!

Потом, когда оба немного успокоились, мирно лежали в редкой полыни и говорили о жизни. Точнее: я говорил, а он с каким-то равнодушным вниманием, словно боясь обидеть, слушал. Над нами томилось в синеве бабье лето—как в детстве, но оба душой мы были уже старики, и ничего в нашей жизни уже невозможно было исправить.

— Подумай сам, куда я мог тогда тебя взять? А, Шарик? Пойми, старина. Пойми, если можешь.—И впервые за много лет я не смог удержать слез.—Ну, а теперь-то ты как живешь, а? Шарик?

«Да как я? Ничего живу. Что вспоминать,—он положил голову на лапы и равнодушно смотрел вдаль на желтые

леса. Потом, как бы извиняясь за неучтивость, повернулся ко мне.—Всяко было...—И снова смотрел вдаль тусклыми глазами.—Я все ждал, что ты вернешься, а потом плюнул. Лет пять ждал, а потом плюнул... Почему хромаю? Да так это. Перед непогодой. Санька Михеев это, с которым раньше мы втроем на Сосновку ходили, из винтовки. Другие раньше пытались пристрелить меня, но я чуял, уходил в лес. А этот ведь дружил с нами, ну я и поверил ему, манит куском хлеба, я и пошел к нему, думаю, по старой дружбе это он. Только в последний момент по глазам понял... Кормлюсь как? Помнишь тетку твою, Анну? Так вот, в столовой она работает. Не забывает. Кости дает. Это зимой, в основном. А летом легче прожить».

Незаметно стало темнеть. Стала синей Сосновка. Только небо по-прежнему светилось торжественной и тихой теплотой. Шарик встал.

— Куда ты? Подожди!

«Да нет, уже поздно, пойду»,—виновато-укоризненно посмотрел он на меня.

— Может быть, ты есть хочешь?—спохватился я, взглянув на его вжатый живот.—Так пойдем ко мне, у меня колбаса есть, сыр. Пошли!

«Да нет, ни к чему все это, пойду я»,—отвернулся он, но тут же, как бы боясь обидеть, смягчился, опять повернулся ко мне:

«Да не расстраивайся ты. Ничего страшного тут нет. Каждому свое. Дружья детства все равно рано или поздно становятся обузой. Встретишься потом, и поговорить не о чем. Одно только расстройство. Спасибо за то, что щенком меня подобрал, хотя, может, было бы лучше, если бы еще тогда я подох. Брось, не расстраивайся, ведь ты ни в чем не виноват. Дружьями были, на сеновале вместе спали. И куском хлеба ты со мной делился и попадало тебе за это. А потом, так сказать, наши пути разошлись.»

Мы сидели в полыни на пригорке, внизу лежала в

осенней дреме деревня нашего детства, и каждый понимал, что пути друг к другу нет. Он сейчас не сможет пойти со мной на теплую койку в дом заезжих, а я, как прежде, не смогу пойти к нему на сеновал.

И он пошел от меня боком, прячась по низинам и редким пучкам полыни. Он не хотел, чтобы я смотрел ему в спину. И вдруг я горько поймал себя на том, что тоже очень не люблю, ежусь, когда ухожу и мне смотрят в спину.

... Сосед мой нещадно храпел. Я смотрел в потолок и задыхался от сухих слез, от бессилия, что ничего уже невозможно изменить. Мне было очень горько и стыдно, хотя ни в чем я не был виноват. Ну что я мог сделать тогда, что? Если сам был бездомной собакой. Если у самого не было приюта. Виновата проклятая война, вроде бы давно кончившись, да она даже собакам исковеркала жизнь. Но мне все равно было стыдно. Наверно, потому, что и сейчас я ни на что не смогу решиться, чтобы как-то изменить его жизнь. Не смогу забрать его в город, в маленькую комнатку в скученной со времен войны коммунальной квартире с общей кухней на четыре семьи. Впрочем, вряд ли всех обитателей наших четырех комнат можно назвать семьями. В двух живут одинокие и тихие старушки, в войну они были эвакуированы из блокадного Ленинграда и так и остались здесь, потому что в послевоенный Ленинград не к кому было возвращаться. Была и третья старушка, но умерла два года назад, в ее комнатке поселились мы с женой... Нет, это просто невозможно — привезти его в город.

Но ведь это был твой первый и, может быть, единственный настоящий друг. И, наверно, все-таки можно забрать его в город: и жена бы, наверно, согласилась, и с соседями, наверное, можно бы поладить. Но я не решусь на это, и я был противен себе. Хотя знал, что он и не приживется в городе, что для него это еще хуже, чем

бродяжничать здесь... Но почему ты за него решил, что хуже? Просто ты пытаешься, — кстати, далеко уже не в первый раз в своей жизни, и почти каждый раз тебе это удавалось, — обмануть свою совесть. Просто ты боишься, что он помешает твоей работе, появятся дополнительные хлопоты, когда ты и так крутишься, как белка в колесе.

На другой день после работы я собирался, но так и не собрался пойти по тропе за огородами деревни моего детства: мне было стыдно показываться там, к тому же пошел дождь, правда, в сумерках он затих, но зашли ребята из конторы, в которую я приехал, и мы засиделись допоздна. Только раз за весь вечер я больно и коротко подумал: где он сейчас, в такой дождь, — а потом, увлеченный разговором, забыл.

Утром неожиданно столкнулся с Шариком около столовой. Увидев меня еще издали, он сделал вид, что не узнал, и торопливо спрятался в овраге.

— Шарик! — окликнул я его, но он оглянулся устало и укоризненно: «Ну, к чему, мол, все это?» и захромал еще быстрее.

На обратном пути я опять встретил его и опять, бросив кость, он исчез в овраге.

Два остальных вечера я провел в доме заезжих. Часами — пока ее не прятали сумерки — смотрел в окно на тихую, размазанную дождем деревню моего детства. Я с нетерпением ждал дня отъезда. Встреча с детством начинала меня угнетать, хотя мне очень больно было расставаться с бабьим летом над Большим Бугром и Сосновкой, с нашей славной рекой, приносящей бумажные размокшие кораблики из других стран детства. Я знал, что больше сюда никогда не приеду.

На станцию было два автобуса в день. Второй автобус мог прийти и не прийти. Это зависело от того, будут ли пассажиры на станции. Поэтому я поспешил к первому. Но он почему-то запаздывал.

Я стоял на обочине большака в стороне от остальных пассажиров и нетерпеливо поглядывал на ворота автохозяйства.

Было еще очень рано и свежо, солнце еще пряталось где-то за розовой кромкой невысоких пологих гор, за которую так хотелось побежать в детстве, но небосвод уже тихозвонко полыхал студеным и томительным ликующим светом, и под ним внизу за селом еще в рассветной дымке лежала деревня моего детства; десяток синих и белых — в зависимости от того, какими дровами топили, — прямых дымных столбов поднимался над темными крышами; река еще курилась туманом, где-то трубно кричали гуси, эхо звонко отскакивало от каменистых склонов Сосновки, над которой за полосой темных сосен прощально полыхало осинами бабье лето.

Я смотрел с большака на деревню моего детства и напряженно слушал, как где-то за моей спиной заводили машину, мотор несколько раз глох. Я оглянулся, это был автобус.

Наконец он выполз со двора автохозяйства. Пассажиры зашумели, сгрудились в кучу на обочине дороги. И тут я увидел за остановочной будкой Шарика. Он осторожно выглядывал из-за угла. Кровь ударила мне в лицо: он тайком пришел проститься.

— Шарик!—бросился я к нему.—Шарик!

Он хотел было спрятаться, но было уже поздно, он смутился и, виновато сгорбившись, стал ждать меня: «Да вот, мол, случайно шел мимо, смотрю, ты уезжаешь».

Я бросился рядом с ним на землю. И вдруг, неожиданно для себя, заплакал. Шарик стал лизать мои щеки, руки, в его глазах появилось что-то из тех давних лет — из детства.

— Шарик! Старина!

— Эй, парень, отъезжаем, остаешься, что ли? Тогда чемодан свой заberi.

Остаться до следующего автобуса? А вдруг не придет?

— Ну ладно, старина, прощай! Куда я тебя возьму. Прости меня за все, если можешь.

Глаза его сразу потускнели, словно в них бросили горсть золы. Но он пересилил себя, понимая вильнул поникшим хвостом, словно хотел улыбнуться, но улыбки не получилось.

«— Да я и не поеду. Куда я. Да и жить мне немного осталось. У каждого своя судьба. Счастливо тебе! Правда, ты предал меня тогда, но я тебе все простил. Я все забыл, пусть это тебя не тревожит. Да и пришел проводить-то, что жалко мне тебя. Какой-то ты неудавшийся. Нет у тебя ни дома, ни родных. Да, я знаю, что ты в этом не виноват».

— Прощай, старина!

Но он уже смотрел куда-то мимо меня, словно не слышал.

Автобус тронулся. Старый и седой, он сидел в клубах дорожной пыли и угрюмо смотрел в землю.

## О Б А В Т О Р Е

Чванов Михаил Андреевич родился в 1944 году в деревне Старо-Михайловка Салаватского района Башкирии. Окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. Учителем в сельской школе, был разнорабочим на стройке, восемь лет проработал в редакции республиканской молодежной газеты «Ленинец»: специальным корреспондентом, заведующим отделами сельской молодежи, литературы и искусства. За годы работы в газете вдоль и поперек исколесил Башкирию.

Как спелеолог, Михаил Чванов был одним из руководителей экспедиции, первоисследовавшей крупнейшую пещерную систему Урала — пропасть Кутук-Сумган и многие другие пещеры Башкирии, за что в 1967 году Министерством геологии СССР награжден значком «Отличник разведки недр». С геологами, геодезистами, охотоведами, туристами-спортсменами с рюкзаком за плечами исходил Южный Урал, прошел около четырехсот километров малохоженными тропами северо-восточной Камчатки, смотрел в жерло Ключевского вулкана, был в Крыму, в Литве, в Карелии, на Соловецких островах, на Русском Севере, в Охотской тайге, в горах и тундре Корякского нагорья, на Чукотке...

Молодой писатель работает в основном в двух жанрах: в жан-



ре лирической прозы и художественного краеведческого очерка.

В 1973 году в Башкирском книжном издательстве вышла его первая книга «Башкирия: 13 счастливых дорог», тепло встреченная читателями и критикой. «Не побоимся назвать ее талантливой, хотя первая книга всегда несет на себе печать незавершенности,— писал в газете «Советская Башкирия» рецензент М. Гуров.— Книга радуется свежестю чувств и стремлением автора рассказывать только об интересном».

В 1975 году увидела свет вторая книга Михаила Чванова — повесть о спелеологах «Лестница в небо», которая незадолго до этого была опубликована в журнале «Урал». Рецензируя повесть, известная советская писательница О. К. Кожухова писала: «Повесть Михаила Чванова «Лестница в небо» привлекает своим необычным познавательным материалом. Михаил Чванов написал о том, что им самим лично пережито и перечувствовано в его многочисленных походах и экспедициях, и вот это пережитое и перечувствованное читателя и подкупает. Никто другой, с чужих слов, наверное, не смог бы воспроизвести те подробности, какие увидел под землей ученый, наедине с тишиной и темнотой неизведанных, грозящих человеку гибелью глубин, взлеты духа. В книге все жизненно, все доподлинно — и чувство страха, и радость познания, и горечь утрат. Автор с точностью аналитика исследует мысли и чувства человека, находящегося на пороге большого научного открытия, или человека, уходящего от поверхности земли так далеко, что ему иной раз нет и возврата. Описание трудностей профессии спелеолога сделано автором с большой убедительностью».

В прошлом году читатели познакомились с новой книгой молодого писателя: «Аксаковские места в Башкирии», о которой один из рецензентов, председатель совета уральских литературно-краеведческих «Бирюковских чтений», писатель А. А. Шмаков писал в «Вечернем Челябинске»: «Небольшая книжка М. Чванова является ярким примером того, что может дать и дает краеведческий поиск, ибо сопоставить то, что было при Аксакове и что есть теперь, можно лишь при условии тщательного изучения сегодняшней действительности и ушедшей эпохи. Все это сделано автором с чувством большой ответственности перед читателем и с такой же лю-

бовью к Башкирии, какой проникнуто все написанное С. Аксаковым о родном крае и его людях».

Рассказы и очерки Михаила Чванова печатались в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Смена», «Урал», «Уральский следопыт».

Михаил Чванов — участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей, член союза писателей СССР.

## **С О Д Е Р Ж А Н И Е**

### **Четверо наедине с горами**

Пианист играл Шопена . . . . .	7
Память . . . . .	17
Перед дальней дорогой . . . . .	24
Четверо наедине с горами . . . . .	40

### **Билет в детство**

По адресу . . . . .	49
Побег . . . . .	79
Билет в детство . . . . .	103
Об авторе . . . . .	122

*Михаил Андреевич Чванов*

**ЧЕТВЕРО НАЕДИНЕ С ГОРАМИ**

**Р а с с к а з ы**

Редактор Г. Зайцев

Художественный редактор А. Астраханцев

Технический редактор Ф. Гайфуллин

Корректоры Л. Останина, Л. Семенова

**ИБ № 307.**

Сдано в набор 23/VIII 1976 г. Подписано к печати 25/I 1977 г.

Формат бумаги  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага тип. № 3.

Условн. печ. л. 5,60. Учетн.-издат. л. 5,17.

Тираж 15 000. П02143. Заказ № 3286.

Цена 32 коп.

Башкирское книжное издательство, Уфа-25, ул. Советская, 18.

---

Типография издательства Башкирского обкома КПСС, г. Уфа, 79,  
ул. 50-летия Октября, 13.

В 1976 году  
в Башкирском  
книжном издательстве  
вышли на русском языке  
первые книги молодых авторов:

Бикчентаев Р. **Не робейте, бомбардиры!** Юмористические новеллы. 15000 экз. Цена 10 коп.

Лушников Л. **Ветлянка.** Повесть. 15000 экз.  
Цена 20 коп.

Хазиахметов Ш. **Солнечный город.** Рассказы.  
15000 экз. Цена 17 коп.